

ПЕЧАТНИК

ТОМ ПЕРВЫЙ

ДВАДЦАТЬ КОПИЙ



ДМИТРИЙ УСАЧЁВ

2026

Дмитрий Усачёв

Печатник. Том 1. Двадцать копий

«Автор»

2026

Усачёв Д.

Печатник. Том 1. Двадцать копий / Д. Усачёв — «Автор», 2026

Я умер в шестьдесят три, зная наизусть чужую историю — все её тупики, всех, кто победил, и какой ценой. Очнулся семнадцатилетним, на площади, где через минуту казнят моего брата. Здесь сила течёт по Жилам, и обладает ею лишь тот, у кого в руку вьелся знак — тёмный, как застарелый ожог. Все прочие — Пустые. Топливо. Меня не казнят. Со мной поступят иначе: назначат сто сорок часов в год, и с каждого я вернусь живым, здоровым и не помнящим полдня. Тридцать четыре года по кускам, и ни один кусок не называется увечьем. Я знаю одно, чего здесь не знает никто: так бывает не всегда. Где-то это уже ломали. Как — не помню: я историк, а не инженер. При мне чужая память, дедов шифр, которого я не умею читать, и хороший почерк. Брат пошёл с бомбой. Я пойду с бумагой. Посмотрим, кто кого.

© Усачёв Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Вывод	5
Глава 2. Девять дней	7
Глава 3. Цена почерка	11
Глава 4. Двадцать копий	15
Глава 5. Щель	18
Глава 6. Поклон	23
Глава 7. Занавеска в рубчик	27
Глава 8. Числиться	30
Глава 9. Плата за слушание	33
Глава 10. Общий хлеб	36
Глава 11. Циркуляр	40
Глава 12. Кто записывает	44
Глава 13. В трёх экземплярах	47
Глава 14. Кой того заслуживают	51
Глава 15. Вас исключит расписание	54
Глава 16. Все правильные ходы	58

Дмитрий Усачёв

Печатник. Том 1. Двадцать копий

Глава 1. Вывод

Я умер в среду, в половине седьмого утра, и последнее, что меня занимало, — незакрытая форточка.

Палата была на двоих, сосед храпел. С улицы тянуло мокрым снегом и почему-то подогревшим маслом — внизу была столовая. Я лежал и думал, что надо попросить закрыть, и что просить придётся сестру, а сестра придёт в семь, и до семи я как-нибудь дотерплю. Шестьдесят три года, из них сорок один — чужие революции. Я знал наизусть, как они начинаются, чем платят и во что превращаются к концу. Про себя я знал меньше: что диссертация вышла тиражом в триста экземпляров и что форточку надо закрыть.

Не дотерпел.

Дальше был холод — но не тот, больничный, а настоящий, уличный, с ветром, который лезет под воротник и обнаруживает, что воротника нет.

Я стоял.

Чужая рука вцепилась в мой рукав так, что я чувствовал ногти сквозь ткань. Холод шёл снизу, от мостовой, поднимался по ногам и добирался до поясницы, и воротника, чтобы поднять, не было.

Первое, что я понял: у меня чужие руки. Молодые, с обкусанным заусенцем на большом пальце, красные от мороза. Второе: я на площади, и площадь полна людей, и все стоят молча, как стоят только тогда, когда смотреть страшно, а уйти нельзя.

Третье я понял не сразу, потому что смотрел не туда.

Посреди площади из мостовой поднимался бронзовый столб в полтора человеческих роста, с широким раструбом наверху — вывод. Возле него, на помосте, стоял человек в одной рубахе. Руки у него были заведены назад и прихвачены к столбу скобой. Рубаха была мокрая на спине, хотя дождя не было.

Ему было лет двадцать пять. Скулы, светлые волосы, коротко остриженные — стригли не в цирюльне, а в тюрьме. Он смотрел в толпу, и было видно, что он ищет.

Рядом со мной кто-то дышал часто и мелко, как дышат перед тем, как закричать.

Чиновник в шинели вышел вперёд и стал читать с листа. Я слышал слова — «умышление», «противу особы наместника», «состав снаряда» — и не слышал их смысла, потому что в голове у меня со скрежетом сходились две вещи, которые не должны были сходиться.

Первая: это мой брат. Пётр. Тело знало это раньше меня, оно уже дрожало.

Вторая, и вот за неё мне до сих пор стыдно: я подумал — «казнь старшего брата, публичная, при семье; классический триггер».

Так я и стоял: одна половина меня умирала вместе с ним, а другая аккуратно ставила галочку в знакомом абзаце.

Чиновник дочитал и отступил.

К помосту поднялся молодой господин в тёмном, лет тридцати, с лицом человека, которому назначили присутствовать и который предпочёл бы завтракать. Он снял перчатку. На тыльной стороне ладони у него была печать — не оттиск, а вросший в кожу знак, тёмный, как старый ожог.

Он положил ладонь на бронзу.

Сначала ничего не произошло. Потом столб загудел — низко, на той ноте, от которой начинает ныть в зубах, — и я увидел, как под кожей у брата пошёл свет.

Он шёл снизу вверх, по рукам, толчками, как вода по сухому руслу. Кожа на предплечьях стала прозрачной и жёлтой, и сквозь неё проступили тёмные ветки — это были не вены, я потом узнал, это было то, что от вен остаётся. Пётр выгнулся. Он не кричал. Он открыл рот и не смог, потому что воздуха в нём уже не было — его выдавило первой же волной.

Тогда он нашёл нас в толпе.

Я не знаю, что он увидел. Мать, наверное. Мать стояла слева от меня и держала меня за рукав так, что потом на руке остались следы. Я знаю, что он смотрел секунды две, а потом свет дошёл до горла, и лицо кончилось.

Пахло, как пахнет от утюга, когда забудешь его на рубаше.

Гул оборвался. Господин в тёмном снял ладонь с бронзы, оглядел перчатку, надел её и пошёл вниз по ступеням, аккуратно ставя ногу, чтобы не поскользнуться на мокром.

Толпа стояла ещё немного и начала расходиться — не сразу, а как расходится вода: сначала с краёв.

К нам подошёл человек с папкой. Он был не злой, у него было усталое лицо и чернильное пятно на манжете. Он спросил фамилию, хотя знал фамилию, и мать сказала. Он раскрыл папку, нашёл строку и провёл по ней пером — не вычеркнул размашисто, а именно провёл, тонко, аккуратно, как проводят черту под столбиком сложения.

— Из списков исключены, — сказал он. — Дом казённый, надо будет освободить. Сроку вам две недели, по-хорошему.

И добавил, уже отходя:

— Соболезную.

Мать ничего не ответила. Она держалась за мой рукав и смотрела на помост, где двое солдат отстёгивали скобу, и тело брата не падало, потому что уже не сгибалось.

А я стоял в чужом семнадцатилетнем теле, посреди чужого города, и понимал одну простую вещь, от которой у меня внутри сделалось очень тихо.

Я знал, как это кончается.

Я читал это раз двести. Я читал это в диссертации, и в чужих диссертациях, и в мемуарах тех, кто выжил, и в протоколах тех, кто не выжил. Я знал каждый поворот, каждую развилку, каждую цену — я мог рассказать по годам, кто кого предаст и на каком съезде.

Я не знал только одного.

Я понятия не имел, как это делается.

Глава 2. Девять дней

Дом был казённый, при училище, и нам дали на выезд две недели. Мы уложились в девять дней, и не потому, что торопились. Просто оказалось, что у нас нечего укладывать.

Первое утро я не помню совсем. Помню второе.

Мать встала раньше всех, вытопила печь и поставила тесто. Тесто она ставила по средам, а была пятница. Я стоял в дверях и смотрел, как она месит, и понимал, что говорить об этом нельзя. Она замесила, накрыла полотенцем, поставила к печи и села рядом на табурет, и просидела так, пока тесто не подошло и не начало переваливаться через край, и тогда я подошёл и убрал.

— Ах ты, — сказала она. — Ушло.

И заплакала. Первый раз за два дня — не на площади, не ночью, а над тестом.

Разбирать начали с отцовского.

Отец умер за год до этого — учителем чистописания и русского языка, с формуляром, малым чином и пенсией в одиннадцать рублей. Пенсию нам платили за него, и она была всё, что у нас было. Её отняли вместе со списками: не отобрали, не взыскали, а просто перестали числить, что есть кому платить.

Бумаги его лежали в комод, в трёх ящиках. Мать вынимала их по одному, раскладывала на столе и перебирала.

Она делала это каждый вечер девять дней подряд. К концу второго вечера я понял, что она ничего не выбрасывает: она берёт стопку, просматривает лист за листом, кладёт в другую стопку и на другой вечер начинает с той, другой. Бумаги переезжали слева направо и справа налево. За девять дней не ubyло ни листа.

На четвёртый вечер я сел рядом и стал помогать. Я думал, что помогаю разбирать.

— Вот это можно выбросить, — сказал я, взяв счёт из мелочной лавки за позапрошлый год.

Мать посмотрела на счёт.

— Это он писал.

— Мама, это счёт за керосин.

— Он писал, — сказала она.

Я положил счёт обратно.

Больше я не помогал. Я сидел рядом и подавал ей стопки, и это, кажется, было именно то, что требовалось.

Продавать пошли на пятый день.

Продавать было нечего, и в этом я убедился на собственном опыте: у семьи учителя нет имущества, у неё есть обстановка. Стол, шесть стульев, комод, кровати, посуда, самовар. Всё это стоило вместе рублей сорок и было нужно нам самим, потому что на новом месте тоже надо на чём-то сидеть.

Оставались книги.

Книг у отца было сто двенадцать. Я пересчитал. Половина — учебные, по русскому языку и словесности, потрёпанные, с закладками из газеты; половина — то, что он покупал для себя, по случаю, годами: история, путешествия, четыре тома энциклопедии из шести.

Букинист Мошкин пришёл сам, на второй день после площади. Это я потом оценил: он не ждал, пока позовут, — он пришёл первым, пока не пришли другие.

Он ходил вдоль полок, снимал, открывал, нюхал корешки. Он действительно их нюхал.

— Сырость была?

— В сенях стояли зимой.

— Значит, была. — Он поставил том обратно. — Учебные не возьму, их у меня своих три сундука. Энциклопедию взял бы, но она неполная, а неполная не идёт. Кому нужна энциклопедия без буквы «п».

— Там нет двух последних томов.

— Тем более.

Он торговался сорок минут и был вежлив всё сорок минут. Я торговался тоже. Я сорок один год торговался с редакциями за авторские листы и думал, что умею.

Он дал двадцать три рубля за сто двенадцать книг.

Когда он выносил их в двух мешках, мать не вышла из комнаты. А Ксения вышла и смотрела с крыльца, как он грузит мешки на санки, и потом спросила:

— А папины книги теперь чьи?

— Мошкина.

— А он их читать будет?

— Он их продаст.

Ксения подумала.

— Значит, они станут чужие, — сказала она.

Ей было двенадцать. Я тогда впервые за эти дни посмотрел на неё как следует и увидел, что она понимает больше, чем мы с матерью решили считать.

Про Петра в доме не говорили.

Это установилось само, без уговора, в первый же день. Мать не произносила его имени. Я не произносил, потому что не знал, каким голосом его произносить: у тела был свой голос для этого имени, а у меня своего не было.

На шестой день Ксения спросила.

Мы сидели за столом, ели картошку с постным маслом, и она вдруг подняла голову и спросила у матери, правда ли, что Петя хотел убить наместника.

Мать ударила её по губам.

Я никогда не видел, чтобы она била детей, — и по тому, как это вышло, было ясно, что она тоже никогда этого не делала: удар получился неловкий, плоский, скорее шлепок, и она сама отдернула руку и уставилась на неё.

Ксения не заплакала. Она посидела, вытерла рот тыльной стороной ладони, посмотрела на масляное пятно на скатерти и сказала:

— Я больше не буду.

Мать вышла в сени.

Я сидел с сестрой вдвоём и молчал, потому что за шестьдесят три года так и не научился, что говорят детям в таких случаях. Ксения доела картошку. Потом сказала:

— Илюш. А он не хотел, да?

— Хотел, — сказал я.

Она кивнула, будто ей стало легче. Может, ей и стало.

Соседи вели себя по-разному, и в этом не было ни подлости, ни благородства — была арифметика.

Учителя из училища перестали заходить все, кроме одного. Тот, кто заходил, был математик Курочкин, старик, бездетный, которому нечего было терять и не с кем терять. Он приходил, садился, полчаса молчал, потом уходил. Один раз принёс полфунта чаю и оставил на комоде, ничего не сказав.

Дьякон, крестивший Ксению, встретил меня на улице и перешёл на другую сторону. Он сделал это неловко: сначала пошёл навстречу, потом узнал, потом резко свернул, будто вспомнил что-то. Мне было почти смешно.

Жена смотрителя, Анна Львовна, которая при отце бывала у нас на именинах, послала кухарку с запиской, что просит извинить, а сама зайти не сможет. Кухарка стояла в дверях, мялась и потом сказала от себя:

— Вы не сердчайте. У них сын на службу подаёт.

— Я не серчаю, — сказал я.

И действительно не серчал. Я слишком хорошо знал этот механизм, чтобы обижаться на его детали. В стране, где судьба человека решается движением пера по строке, знакомство с вычеркнутыми — это расход, а не подлость. Расход люди считают.

Считать я и сам к тому времени научился.

Полдома у вдовы Кулаковой мы нашли на седьмой день, на Мокрой улице, у самой воды.

Кулакова была маленькая, круглая и говорила очень быстро, будто боялась, что её перебьют. Она заломила три рубля, потом сама же испугалась и сказала — два с полтиной, и что дрова её, но носить самим, и что жилец у неё уже был, студент, съехал, потому что женился, и что она людей выбирает.

Она знала, кто мы такие. В Затонье это знали все.

— Я не смотрю, — сказала она, отпирая. — Мне что. Мне бы платили вовремя, а остальное меня не касается. Вот тут две комнаты, тут сени, печь одна, топится в эту сторону, в ту не идёт, я честно говорю, чтоб потом не спорить.

Две комнаты и сени. В той, что теплее, поселили Ксению с матерью; вторую отдали под всё остальное.

— А ты где? — спросила мать.

— В сенях.

— В сенях холодно.

— В сенях сундук.

Переезжали на восьмой и девятый.

Восьмой ушёл на мелочи, девятый — на большое. Большого было три предмета: комод, кровать матери и дедов сундук.

Сундук стоял у нас в чулане сколько я — то есть сколько Илья — себя помнил. Он был отцова отца, инженера на казённых заводах, умершего задолго до нашего рождения. Окован по углам, с двумя ручками, и весил он так, что двое мужиков, взявшись, разогнулись и посмотрели друг на друга.

— Что там, кирпич?

— Бумага, — сказала мать.

— Бумага, — повторил тот, что постарше, с уважением.

Что там лежало, никто толком не знал. Мать говорила: чертежи и записки. Продать некому — кому нужны чужие чертежи; сжечь нельзя — дед. Раз в несколько лет его двигали при уборке и снова забывали.

В дверь он не прошёл. Пришлось снимать дверь с петель, и это заняло полчаса, и все замёрзли, и мужик помоложе сказал, что за такое надо бы накинуть, и мать накинула двугривенный, которого у нас не было.

В сенях у Кулаковой его поставили к стене, под окошком.

Я застелил его тюфяком.

Последним я снял с двери отцовскую дощечку.

Медная, с гравировкой, «Н. И. Костринь», — её прибили, когда он получил место, и она провисела двадцать два года. Гвозди прижавели; я поддел стамеской, и она отошла вместе с краской, оставив на двери светлый прямоугольник и четыре тёмные точки.

Дощечку я сунул в карман. Потом отдал матери, и она положила её в комод, в тот же ящик, где лежали бумаги, которые она перекладывала.

Первую ночь на новом месте я не спал.

Не от горя. От холода: печь в сени не шла, а я этого до конца не понимал, пока не лёг. Я лежал на дедовом сундуке, подтянув колени, и слушал, как за стеной ходит Кулакова, и как внизу, под окошком, что-то потрескивает — река начинала вставать.

И думал я не о брате и не об отце.

Я думал о том, что пенсии больше нет, что двадцать три рубля — это, если считать по-здешнему, месяца четыре, и что четыре месяца кончатся в марте.

Это был первый раз, когда я поймал себя на том, что считаю, а не горюю.

Далеко не последний.

Глава 3. Цена почерка

Двадцать три рубля я разложил на столе и посчитал при матери, чтобы она видела.

Угол у Кулаковой — два с полтиной в месяц. Дрова — сорок копеек в неделю, если топить через день, полтора рубля в месяц. Хлеб на троих — восемь фунтов в неделю, тридцать две копейки. Крупа, картошка, постное масло — рубль двадцать. Свечи — сорок. Керосин мы уже не жгли.

Выходило шесть рублей с копейками в месяц, и это если не заболеть, не чинить обувь и не покупать ничего вообще.

— Четыре месяца, — сказал я.

Мать смотрела на бумажки.

— А потом?

— А потом я работаю.

— Ты учиться должен.

— Мама.

— Отец на тебя надеялся, — сказала она и ушла в комнату, и это был последний раз, когда она спорила. Дальше она просто перестала об этом говорить, и это оказалось хуже.

Искал я одиннадцать дней.

Я начал с типографии, потому что типография была единственным местом в Затонье, где нужны были грамотные руки. Казённая печатня стояла за собором, в низком здании с зарешёченными окнами, и печатала бланки, объявления, ведомости и «Затонские губернские ведомости» по субботам.

Меня пустили за порог и дальше порога не пустили.

Мастер вышел в фартуке, вытирая руки ветошью, выслушал и покачал головой.

— Наборщиков не берём. У меня три, и три лишних.

— Я не в наборщики. Хоть куда.

— Куда — куда?

— Мыть, носить, точить. Что угодно.

Он посмотрел на мои руки. Руки были семнадцатилетние, чистые, без единой мозоли — руки человека, который держал только перо.

— Ты чей?

Я сказал.

Он перестал вытирать ветошь.

— Иди, — сказал он не зло. — Иди, братец. Мы казённые.

Пахло оттуда так, что у меня потом две недели стояло в носу: краской, керосином, разогретым металлом и мокрой бумагой. Я тогда впервые почувствовал этот запах и не придал ему никакого значения.

Дальше было хуже, потому что дальше было однообразнее.

Мелочная лавка Свиридова — приказчик не нужен, есть племянник. Аптека — нужен человек, но с поручительством, а поручиться за меня было некому. Пристань — грузчиком; меня оглядели и засмеялись, и правильно сделали: в семнадцать лет и при таком сложении я поднял бы полмешка.

Уроки я оставил напоследок и напрасно.

Уроки были самым естественным делом: сын учителя, гимназию окончил, латынь, арифметика, чистописание — пятьдесят копеек за урок, четыре урока в неделю, восемь рублей в месяц, и всё было бы решено.

Я обошёл шесть домов.

В первых трёх сказали, что уже взяли. В четвёртом — что дочери не нужен репетитор, что было прямой неправдой, потому что мне открыла эта самая дочь и на столе лежал задачник. В пятом дверь не открыли вовсе, хотя за занавеской ходили.

В шестом жил купец Тарасов, и он один был честен.

Он вышел в халате, немолодой, с тяжёлым лицом, выслушал и спросил:

— Ты Костриных сын? Который брат-то?

— Младший.

— Младший, — повторил он. — Ты, парень, толковый, я по глазам вижу. И взял бы тебя, чего мне. Только у меня трое, и им с этой фамилией потом жить.

Он помолчал.

— Ты не ходи больше. Не потому что плохие люди, а потому что ноги побьёшь. Я тебе так скажу: тебе не в дома надо, тебе надо туда, где на фамилию не смотрят, а смотрят на работу. Такие места есть.

— Какие?

— А я почём знаю. Я купец. — Он подумал и добавил: — К стряпчим сходи. Стряпчие — они не гордые.

И закрыл дверь.

Я потом всю жизнь помнил этого Тарасова, и в четвёртом томе, когда его сына привезут в Кронь по этапу, я вспомню его халат и тяжёлое лицо.

К одиннадцатому дню я стал считать шаги.

Это трудно объяснить человеку, который не голодал. Голод в семнадцать лет — это не боль в желудке, это сужение мысли. Ты идёшь по улице и думаешь не о том, куда идёшь, а о том, что до угла двести шагов, а если срезать через двор — сто сорок, и на сорока шагах ты сэкономишь. Что именно ты экономишь, ты сформулировать не можешь.

Ели мы к тому времени раз в день, вечером. Ксения — два, я следил.

На одиннадцатый день я сидел на тумбе у Приказной улицы, потому что устал, и смотрел на дверь с медной табличкой «Стряпчий М. О. Пахомов» и не заходил, потому что за одиннадцать дней у меня выработалась привычка не заходить.

Потом всё-таки зашёл.

В конторе было натоплено, и это я почувствовал раньше, чем увидел самого Пахомова.

Комната с двумя окнами. Стол, заваленный так, что столешницы не видно. Полка с четырнадцатью томами в одинаковых корешках. На подоконнике — герань в горшке, обмотанном газетой. Пахло сургучом, мокрой шерстью и кисло — от чернил.

Пахомов был толстый, одышливый, с добрыми испуганными глазами. Он писал, не поднимая головы.

— Чего тебе?

— Работы.

— Нет работы.

— Какой-нибудь.

Он поднял голову и посмотрел — не на лицо, а сразу на руки, как мастер в типографии. Только вывод сделал другой.

— Пишешь? — спросил он.

— Пишу.

— Покажи.

Он подвинул лист, снял с чернильницы крышку и кивнул на перо. Я сел, обмакнул и написал первую строчку из той бумаги, что лежала сверху.

Рука была чужая, семнадцатилетняя, и в первую секунду я испугался, что не выйдет. Но училась она у того же учителя, что и я когда-то, — у отца, у одного и того же отца в двух разных мирах, и это была единственная шутка, которую судьба со мной пошутила по-доброму.

Вышло чисто.

Пахомов посмотрел. Поднял брови. Посмотрел ещё раз, взял лист и поднёс к окну.

— Ты, братец, пишешь как писарь в казённой палате.

— У отца учился.

— Отец у тебя, значит, был человек.

Он сказал это и сразу спохватился — понял, что «был», и что про отца, и что вообще про эту семью, — и торопливо, глядя в сторону, добавил:

— Ты не думай, я про списки не спрашиваю. Мне до списков дела нет. Мне до почерка дело есть.

Он положил лист.

— Двугривенный за двадцать копий. Бумага моя.

Я тогда ещё не научился считать здешними деньгами и кивнул сразу. Уже на улице посчитал: фунт хлеба — четыре копейки. Двадцать копий — это пять фунтов хлеба. Ночь работы — два дня еды на троих, если не есть больше ничего.

Это было мало.

Это было в шесть раз больше, чем ноль, который у меня был одиннадцать дней.

— Сколько сделаешь за ночь? — спросил он, когда я уже был в дверях.

— Не знаю. Не пробовал.

— Двадцать сделаешь?

Я прикинул: страница убористо — минут двадцать. Двадцать страниц — семь часов без перерыва.

— Сделаю.

— Ну сделай. — Он уже писал дальше. — Только не части. Мне красиво надо, а не быстро. Быстро я и сам умею.

Он выдал мне стопку чистой бумаги, образец и велел прийти утром.

На пороге я обернулся.

— Михаил Осипович. А почему вы меня взяли?

Он не поднял головы.

— Потому что у меня к субботе сорок объявлений по волости, а писарь запил, — сказал он. — Ты, братец, не воображай. Я не благодетель, я в затруднении.

Помолчал и всё-таки поднял голову.

— И потому что за одиннадцать дней ты у меня четвёртый, а из четверых трое писали как курица. Иди, у меня работа.

Я вышел на улицу и пошёл домой, и всю дорогу нёс эту стопку бумаги под шинелью, чтобы не намочило.

Дома мать спросила, где был.

— Нашёл работу, — сказал я. — Переписывать.

Она посмотрела на бумагу.

— У кого?

— У стряпчего.

И она сказала — ровно, без всякого выражения, тем голосом, которым говорила теперь всё:

— Отец переписывал, когда молодой был. Пока места не дали.
Потом отвернулась к печи.

Я разложил бумагу на подоконнике в сенях, сел на дедов сундук и стал ждать вечера, потому что днём свечу жечь было нельзя, а окошко в сенях выходило на север.

Глава 4. Двадцать копий

Работа была устроена так.

Печатня в Затонье была одна, казённая, и очередь в неё стояла на два месяца вперёд. Губернское правление рассылало по волостям объявления, которые полагалось развесить в срок, а срок был раньше очереди. Всё, что в очередь не помещалось, писали от руки. Волости платили за списки, правление платило за рассылку, Пахомов сидел посередине и брал за то, что находил людей.

Люди были такие, как я.

Первое, что я переписал в своей жизни, называлось так:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О порядке отправления повинности при выводахъ казённыхъ и частныхъ, на текущій годъ.

Двадцать два пункта, мелким канцелярским слогом, на полторы страницы. Я развернул образец, разгладил ладонью и начал.

Первый раз я его просто списывал. Я следил за буквой, за нажимом, за тем, чтобы строки шли ровно и поля были одинаковые. Смысла я не читал — при переписывании смысл мешает, глаз должен идти по знакам, а не по словам. Это я знал ещё по своей прежней жизни, когда сам, аспирантом, переписывал в архиве от руки то, что не давали копировать.

Во второй раз я его прочёл.

Каждый Пустой мужского пола от шестнадцати до пятидесяти лет обязан отстоять при выводе положенное число часов в год. Часы считаются по разряду: первый — сорок, второй — восемьдесят, третий — сто сорок. Первый разряд — владеющие землёй или недвижимостью. Второй — приписанные к цеху или состоящие на службе. Третий — все прочие: у кого нет ни земли, ни ремесла, ни поручителя.

Пункт двенадцатый: «убыль сил, наступающая при отпращивании повинности, увечьем не почитается и вознаграждению не подлежит».

Пункт девятнадцатый: «учащимся в заведениях высших и средних, на всё время учения, отправление повинности отсрочивается».

Пункт двадцать первый: за уклонение — взыскание в двойном размере, за повторное — арест до трёх месяцев.

Я переписал всё это в третий раз, в четвёртый и в пятый.

К десятому я перестал думать о том, что читаю нечто примечательное. К пятнадцатому у меня начало сводить руку, и я стал через каждые пять строк класть перо и сжимать-разжимать кулак.

А на семнадцатом или восемнадцатом — я потом не мог вспомнить, на каком именно, — я дошёл до третьего разряда и остановился.

Ни земли, ни ремесла, ни поручителя.

Земли у нас не было никогда: отец служил, а не владел.

Ремесла у меня не было. Я подумал было — переписчик; но ремесло это то, что записано в цеховой книге, а моего занятия ни в какой книге нет, и Пахомов платит мне не по цеховому уставу, а из кармана.

Поручитель. Поручиться мог отец — отца нет. Мог брат — брата не стало три недели назад, и не просто не стало, а по приговору. Могло казённое место — места нас лишили одним движением пера, аккуратно, тонко, как проводят черту под столбиком сложения.

Мне семнадцать. По объявлению — с шестнадцати.

Я отложил перо и сидел, глядя на собственную строчку.

Почерк был хороший. Ровный, с правильным наклоном, отцовской школы — он ставил мне руку четыре года и был этим горд. Этим самым почерком было написано, сколько часов в год я обязан простоять у вывода за то, что я никто.

Сто сорок.

Я не почувствовал ни возмущения, ни страха. Ничего из того, что полагается чувствовать в такую минуту, во мне не шевельнулось, и я это отметил с той же брезгливой аккуратностью, с какой отмечал всё в те недели: цифра большая, надо будет посмотреть, как это выглядит.

Потом взял перо и дописал до конца.

Свеча была одна, дешёвая, сальная. Она коптила, оплывала на сторону и подрагивала, когда в сенях тянуло от двери. Я придвинул её ближе — стало видно чуть лучше и запахло горелым жиром.

К третьему часу у меня стояла в глазах сетка. Она появлялась, если долго смотреть на строку, и не проходила, если моргнуть; надо было закрыть глаза и подержать закрытыми, считая до двадцати.

Ксения вышла в сени в одной рубашке — босиком, по холодному полу.

— Ты чего не спишь?

— Работаю. Иди ляг.

Она подошла и посмотрела через плечо.

— Красиво.

— Иди ляг, простудишься.

— А сколько ещё?

Я посчитал. Лежало шесть готовых.

— Четырнадцать.

Она постояла ещё немного и ушла, и я слышал, как она прошлёпала обратно и как скрипнула кровать.

Двадцать копий. Руки сводит, глаза слепнут, но это всё, что я могу.

Последнюю я дописал в четвёртом часу. Подул на лист, сложил стопку, придавил чугуном, чтобы не свернулась, и лёг на сундук прямо в одежде, потому что раздеваться было холодно и не имело смысла: вставать через три часа.

Наутро я понёс работу и пошёл не прямой дорогой, а через Нижний рынок, потому что там короче на квартал.

Вывод стоял за рыбными рядами, на утоптанной площадке. Не такой, как на казённой площади: меньше, приземистее, бронза облупилась и позеленела у основания, сверху — деревянный навес от дождя, крытый дранкой, с прогнившим углом.

Возле него, на длинной лавке, сидели двенадцать человек.

Я остановился.

Пристёгивали их не скобой, а ремнями — широкими, как на конской упряжи, выше локтя, и от каждого ремня шёл медный поводок к общей шине. Сидели смирно. Один читал, шевеля губами. Двое играли в шашки на доске, положенной на колени; один всё время выигрывал, а второй сердился и говорил: «Погоди, погоди».

Приказчик с печатью на руке — молодой, скучающий, в новом полушубке — сидел под навесом и грел ладони о стакан.

Потом поставил стакан и положил руку на шину.

Шина загудела — низко, на той ноте, от которой начинает ныть в зубах.

И потянуло запахом. Сухим, металлическим, с пылью: так пахнет печь, которую затопили первый раз после лета, когда на ней перегорает то, что за лето осело. Ничего страшного в этом запахе не было. Он был почти домашний.

Только на самом дне его лежало что-то ещё — так слабо, что я не взялся бы назвать. Я и не назвал. Отвернулся бы и забыл, если бы три недели назад не стоял на площади с наветренной стороны.

Игравшие замолчали. Тот, что читал, закрыл книгу и положил её на колени обложкой вниз, аккуратно, чтобы не потерять место. Никто не закричал. Ничего не засветилось. Просто у всех двенадцати сразу сделались очень внимательные лица — как у человека, который прислушивается к себе и решает, не заболел ли он.

Я простоял там минут двадцать.

Не потому, что мне было их жалко. Мне не было их жалко: я их не знал, и то, чем жалеют, у меня в те недели работало плохо. Я стоял потому, что вот на этой самой лавке, седьмым или восьмым с краю, мне предстояло провести сто сорок часов, и я хотел посмотреть, как это выглядит со стороны, пока ещё можно было смотреть со стороны.

Гул не менялся.

Приказчик не делал ничего. Держал ладонь на металле. Один раз зевнул, прикрывшись свободной рукой. Потом достал часы, посмотрел и убрал.

И я стал считать.

Это вышло само. Когда я не знаю, что думать, я начинаю считать; сорок один год этой привычке, она сильнее человека. Двенадцать на лавке. Один под навесом. Шина одна. Ремни по два на каждого. Приказчик глянул на часы дважды: в начале и на двадцать второй минуте.

У того, что выигрывал в шашки, к концу стали дрожать пальцы. Он положил руки на колени, чтобы не было видно, и я отметил и это — не «бедняга», а: на двадцать второй минуте начинается тремор, значит, часа выдерживают не все.

Записывать было не на чем и незачем. Я запомнил.

Гул оборвался. Приказчик снял ладонь, посмотрел на часы и крикнул:

— Всё, расходись!

Двенадцать человек стали отстёгивать ремни. Тот, что читал, открыл книгу на заложенном месте, посмотрел в неё, закрыл и сунул за пазуху: читать он в этот день уже не мог.

Пахомов пересчитал листы дважды, посплюнвив палец.

— Хорошо пишешь, — сказал он и выложил двугривенный.

Монета была тёплая — он держал её в кармане.

— Много будет работы, если не побрезгуешь.

— Не побрезгую.

— Ну и не брезгуй. — Он уже отвернулся к столу. — К субботе ещё двадцать. И вот эти, посыльные, к среде.

Я взял стопку и вышел.

По дороге домой поймал себя на том, что считаю дальше. Сто сорок часов, по часу за приход, — это сто сорок приходов. Почти через день. И так с шестнадцати до пятидесяти: тридцать четыре года.

Отсрочка полагалась учащимся. Пункт девятнадцатый. Я его переписал двадцать раз и знал наизусть.

А вечером, прежде чем начать работу, я взял испорченный лист — один из двадцати вышел с кляксой, и Пахомов такой не принял бы, — перевернул его чистой стороной и записал.

Двенадцать на лавке. Один под навесом. Шина одна. Ремни по два. Час. Тремор на двадцать второй минуте — у одного из двенадцати.

Потом посмотрел на это и не понял, зачем написал.

Это была первая строчка, которую я в этом мире сочинил сам, а не переписал. Я сложил лист вчетверо и сунул под тюфяк, на сундук, и там он пролежал одиннадцать месяцев, и за одиннадцать месяцев к нему прибавилось ещё девять таких же.

Глава 5. Щель

Река встала в ночь на Николу.

Я это увидел утром, когда нёс Пахомову вторую сотню. Вышел затемно, в шестом часу, — не потому, что спешил, а потому, что если выйти в шестом, то по дороге никого нет, и можно идти, а не здороваться.

Мокрая улица спускается к воде, и с середины её видно излучину. Всю осень там шла тёмная, тяжёлая вода с салом, а в то утро было бело и тихо, и от берега до берега лежал новый лёд — синеватый, чистый, ещё без снега. По нему тянулись длинные трещины, замёрзшие в том виде, в каком их застало; и в одном месте лёд встал не гладко, а торосом, потому что там бьёт ключ и вода не сдаётся до самых морозов.

Я остановился и стоял.

Ничего не произошло. Никто не прошёл мимо, ничего не случилось, я ни о чём не думал. Было очень холодно и очень тихо, и над той стороной, за лесом, небо начинало сереть в одном месте сильнее, чем в других.

Потом от собора ударили к заутрене, и я пошёл дальше.

Уже у Приказной я понял, что это был первый раз с площади, когда я на что-то смотрел просто так. Не считая, не оценивая, не отмечая для памяти. Просто смотрел на лёд.

Мне стало от этого нехорошо, будто я сделал что-то за чужой счёт.

Мысль об университете пришла не как решение, а как расчёт, и я долго не мог понять, почему она мне неприятна.

Пункт девятнадцатый я знал наизусть. «Учащимся в заведениях высших и средних, на всё время учения, отправление повинности отсрочивается». Ни оговорок, ни исключений, ни «по усмотрению начальства» — редкая в этих бумагах чистота. Я даже подумал, что кто-то писал его с умыслом, оставляя щель для своих.

Гимназию Илья окончил в мае, за месяц до ареста брата. Аттестат лежал в комодке, завернутый в холстину, вместе с отцовским формуляром и медной дощечкой.

С аттестатом в Ольховский университет брали.

Неприятно же мне было вот от чего: я собирался пойти учиться туда, где мне нечему учиться. Я знал, чем кончится всё, чего они там ещё не начали. Я шёл не за знанием, а за строчкой в списке, которая на четыре года отодвигает лавку. Шестьдесят три года, две монографии, — и я иду в студенты, чтобы не сидеть на ремнях.

Я сказал себе, что это временно, и пошёл в правление.

В правлении было тепло, пахло мастикой и мокрым сукном, и за барьером сидел писарь, немолодой, с воротничком не первой свежести.

Я объяснил.

Он выслушал внимательно и спросил без всякого зла:

— А кто вы такой?

— Кострин. Илья Никитин.

— Это я слышал. Вы по какому обществу состоите?

— Ни по какому.

Он посмотрел на меня — и я увидел, что он не издевается, а действительно затруднён. У него была тетрадь с графами, и в графах стояли: дворяне, духовенство, купечество, мещане, цеховые, крестьяне. Графы для человека, которого перестали числить, в тетради не было.

— Свидетельство о состоянии выдаёт общество, к которому вы приписаны, — сказал он. — Приписки нет — некому выдать. Я вам сочувствую, но я не могу написать бумагу от лица никого.

— А что мне делать?

— А я почём знаю, — сказал он и добавил, понизив голос: — Вы к стряпчему ходите. У меня тут закон один, а у них их много.

Три вечера я сидел у Пахомова после работы.

Он не возражал. Контора всё равно топилась до восьми, а я приносил дрова со двора и подкидывал, так что ему это было даже выгодно. Он сидел за своим столом и дописывал дневное, а я — на табурете у полки.

На полке стояло полное собрание законов: четырнадцать томов в одинаковых корешках, купленных когда-то по случаю у вдовы какого-то чиновника. Я вытер их тряпкой. Пыли было на палец, а на трёх верхних корешок присох к соседнему — их не открывали ни разу.

— Ты что там ищешь? — спросил Пахомов на второй вечер.

— Способ существовать.

— В законах?

— А где ещё.

Он хмыкнул.

— Ты, братец, чудак. Закон для того написан, чтоб с тебя взять. Существуют не по закону, существуют по-человечески: сходи к людям, попроси, поклонись. Тебе бы поручителя найти, и вся недолга.

— Кто за меня поручится?

Он подумал и не ответил.

Первые два вечера ушли впустую. Я читал том о повинностях и том о состояниях подряд, страницу за страницей, и находил только то, что уже знал: что человек без сословия не может почти ничего, потому что в этой стране прежде чем что-нибудь делать, надо кем-то числиться.

На третий вечер я нашёл — и не там, где искал.

Это было в томе о состояниях, в разделе о городских обывателях, в статьях о приписке.

«Всякий, не состоящий в ином сословии, может быть приписан к мещанскому обществу города по собственному о том прошению, буде имеет он оседлость или занятие, дающее пропитание. Общество в приписке отказать может, о чём составляет приговор с изложением причин».

Я прочёл трижды и стал думать, где подвох.

Подвоха не было, а была арифметика, и арифметика работала на меня. Подать с мещанского общества раскладывалась не по головам, а на всё общество разом: сумма назначалась сверху, а делили её сами. Значит, каждая новая душа уменьшала долю каждого старого.

То есть меня были не то что готовы принять — меня были заинтересованы принять.

Я сидел в остывающей конторе и почти смеялся. Сорок один год я писал о том, как люди обходят законы, и всегда это выглядело у меня в книгах умно и мрачно. А на деле выходило вот так: я пролезал в щель не потому, что перехитрил государство, а потому, что затонским мещанам было выгодно записать меня в свои, чтобы платить с души на четверть копейки меньше.

Мещанин — это было падение. Отец был учитель, чин небольшой, но чин. Сын учителя, ставший мещанином, — это в Затонье обсуждали бы до Пасхи.

Зато мещанин существовал.

Мещанину выдавали свидетельство. Со свидетельством брали в университет. В университете была отсрочка.

Вниз, чтобы наверх.

— Нашёл, — сказал я вслух.
Пахомов поднял голову.
— Ну и слава богу. Дрова-то подкинь.

Урядник пришёл в четверг, как ходил каждый месяц с самой площади.

Гласный надзор был установлен над всей семьёй: мы обязаны были жить по указанному адресу, о всякой отлучке заявлять, и раз в месяц урядник проверял, что мы никуда не делись. Первый раз он пришёл через неделю после казни, когда мы ещё не съехали; второй — уже к Кулаковой, и остался недоволен, что мы не заявили о перемене жительства, хотя мы заявили, и бумага лежала у него же.

Звали его Тычков.

Он был невысокий, аккуратный, в чистой шинели — чище, чем можно было ожидать при его должности и жалованье. Круглое лицо, светлые редкие брови, весь какой-то отглаженный, будто шёл не в поднадзорный дом, а в гости к людям получше себя.

Мать встала, когда он вошёл. Ксения встала.

Я не встал.

Я сидел за столом у окна и переписывал прошение — то самое, о приписке, набело, третий раз, потому что в первых двух я сажал кляксу на обороте. Когда он вошёл, я поднял голову, увидел, что это Тычков, и опустил голову обратно, чтобы дописать строчку до конца, — на середине слова перо оставлять нельзя, потом видно.

Вот и всё, что произошло.

Я не встал потому, что дописывал строчку. Тело встало бы: тело выросло в Затонье и знало, как надо. Но телом в ту минуту распоряжался я, а я шестьдесят три года вставал только перед теми, перед кем сам считал нужным, и в списке этих людей уездный урядник не значился ни разу.

Я дописал, поставил перо и поднял глаза.

Тычков смотрел на меня.

Лицо у него не сделалось злым. Оно сделалось внимательным — так делается лицо у человека, которому наконец-то дали повод.

— Здравствуй, — сказал он.
— Здравствуйте.
— Пишешь.
— Пишу.
— Чего пишешь?
— Прощение.
— Какое такое прошение?
— О приписке к мещанскому обществу.

Он подошёл к столу. Наклонился и стал читать — медленно, ведя пальцем по строчкам, и было видно, что он этим горд: не всякий урядник читает свободно, а он читал, и хотел, чтобы это заметили.

Он читал прошение минуты три. Там было двенадцать строк.

— В мещане, — сказал он наконец. — Из учительских детей в мещане.
— Так точно.
— А зачем?
— Чтобы получить свидетельство.
— А свидетельство зачем?
— Чтобы поступить в университет.
— А университет зачем?
Я посмотрел на него.

Он спрашивал не потому, что не понимал. Он всё понял с первой строчки — он был глуп, но не в этом смысле; в бумагах он разбирался, это была вся его жизнь. Он спрашивал потому, что мог спрашивать, а я обязан был отвечать, и потому, что каждый следующий вопрос был ещё одной минутой, в которую я сижу, а он стоит.

— Чтобы получить отсрочку от повинности, — сказал я.

— А-а, — сказал Тычков с удовольствием. — Отсрочку.

Он выпрямился, оглядел комнату, посмотрел на мать, на Ксению, на печь.

— Мать, — сказал он, — ты сына-то не распускай. У тебя один уже доотсрочивался.

Мать не ответила. Она стояла у печи, сложив руки под передником, и смотрела в пол.

Он походил ещё. Заглянул в сени. Постучал костяшкой по дедову сундуку — звук был глухой.

— Это что?

— Сундук.

— Я вижу, что сундук. В нём что?

— Бумаги деда. Чертежи.

— Открой.

Я открыл. Замок не запирался лет двадцать. Внутри лежали связки бумаг, переложённые тряпками от сырости, — верхняя связка была чертёж какого-то механизма, ватман, побуревший по краям, с надписями от руки.

Тычков посмотрел. Взял верхний лист двумя пальцами, поднёс к свету, посмотрел на просвет — так, как смотрят на кредитный билет.

Он не понял ни единой строчки. Я видел это по лицу.

— Чертежи, — сказал он.

— Чертежи.

Он положил лист обратно, не совсем на место, наискось, и закрыл крышку.

— Ладно.

В дверях он остановился.

— Прощение когда подавать думаешь?

— Завтра.

— Завтра, — повторил он. — Ну подавай.

И вышел.

Мать закрыла за ним и постояла у двери. Потом сказала, не оборачиваясь:

— Отчего ты не встал?

— Не подумал.

— Ты всегда не подумал, — сказала она. — А он подумал.

Прощение я подал в пятницу.

Мещанское общество собралось через две недели и вынесло приговор в мою пользу — единогласно, потому что вопрос был денежный, а по денежным вопросам они не спорили. Свидетельство выдали ещё через неделю: плотная серая бумага с водяным знаком, пахнущая клеем.

Матери я сказал вечером, когда Ксения уснула.

Она сидела у печи и штопала. Она штопала каждый вечер, независимо от того, было что штопать или нет, — я думаю, ей просто нужно было держать что-то в руках.

Я объяснил всё по порядку: приписка, подать, свидетельство, аттестат, отсрочка. Я говорил хорошо. Я всю жизнь читал лекции и умею объяснять сложное просто, и мне даже показалось, что вышло убедительно.

Она дослушала до конца, не перебивая.

Потом сказала:

— Отец тебя в мещане не отдавал.

— Отца нет.

— Я знаю, что нет.

Она отложила штопку. В печи стрельнуло, и на пол выпал уголёк; она подняла его голой рукой и бросила обратно, и я услышал, как зашипела кожа.

— Пётр тоже всё хорошо объяснял, — сказала она. — Он мне два часа объяснял, почему иначе нельзя. Складно. Я половины не поняла, а поверила.

— Мама.

— Иди в свои мещане. Я подпишу, что надо.

Она снова взяла иглу.

— Только не объясняй мне больше ничего. Ты, когда объясняешь, делаешься на него похож. А я этого не выдержу.

Я вышел в сени.

Там было темно и холодно, и река под окошком уже не потрескивала — встала окончательно. Тело, семнадцатилетнее и глупое, хотело вернуться и сказать, что я не Пётр, что я вообще не тот, за кого она меня держит, и что это гораздо хуже, чем она думает.

Я его не пустил.

Я сел на дедов сундук, на котором спал, и просидел так, пока не замёрз.

Глава 6. Поклон

Свидетельство я получил в конце января, а занятия начинались в сентябре.

Весну и лето я проходил у Пахомова: переписывал, складывал по копейке на дорогу и по вечерам разбирал у него в конторе то, чего не разобрал зимой. За эти месяцы я скопил одиннадцать рублей сверх тех, что были, и научился не думать о том, что будет в сентябре, — потому что думать было рано, а тревожиться заранее я считал расходом.

В начале августа выяснилось, что уехать нельзя.

Точнее — можно, но не самому. Состоящий под гласным надзором обязан испрашивать дозволение на всякую отлучку далее пятидесяти вёрст, и дозволение даёт уездный исправник по представлению чина, ведущего надзор.

Чинном, ведущим надзор, был Тычков.

Я узнал об этом в правлении, у того же писаря с несвежим воротничком. Он объяснил охотно — я к тому времени начал понимать, что мелкие чиновники охотно объясняют всё, кроме того, что от них зависит.

— Ступайте к уряднику, он напишет представление. С представлением — к господину исправнику. Господин исправник положит резолюцию.

— А если не положит?

— Тогда не поедете, — сказал он и вернулся к бумагам.

Первый раз я пришёл в понедельник.

Урядницкая помещалась в двух комнатах при пожарном сарае: передняя, где стояла лавка для просителей, и задняя, где сидел Тычков. Пахло там махоркой, сырыми валенками и, отдельно, чем-то сладким. Сладкое я разглядел на второй раз: на подоконнике стоял пузырёк одеколона, аккуратный, с прозрачной пробкой, — вещь, совершенно немыслимая в пожарном сарае.

Тычков выслушал, глядя в стол.

— В Ольхов.

— В Ольхов.

— Учиться.

— Учиться.

Он взял перо, подержал, положил обратно.

— Завтра приходи.

— Почему завтра?

— Потому что сегодня я занят, — сказал он, и мы оба видели, что он не занят.

Я поклонился — то есть нет. Я кивнул и вышел.

Второй раз я пришёл во вторник.

Он сидел так же. Перед ним лежал чистый лист, тот же самый, я узнал его по замятому углу.

— Пришёл.

— Пришёл.

— Ты мне вот что скажи. Свидетельство мещанское у тебя когда выдано?

Я сказал.

— А приписка когда состоялась?

Я сказал.

— А приговор общества где?

— В обществе.

— А у тебя?

— У меня свидетельство.

— Свидетельство — это выписка, — сказал Тычков с удовольствием. — А мне бы приговор посмотреть. Приговор — он полный, а в свидетельстве что? В свидетельстве одна строчка.

Никакого приговора ему не требовалось. Представление о дозволении на отлучку пишется по свидетельству; я это знал, потому что накануне вечером прочёл у Пахомова инструкцию для чинов уездной полиции, том восьмой, и знал даже, какой она формы.

Я мог сказать ему это.

Я подумал две секунды и не сказал.

— Схожу за приговором, — сказал я.

За приговором я ходил два дня. В обществе его выдали с третьего раза, потому что писарь общества был на свадьбе у брата в Шелоховой.

Третий раз я пришёл в пятницу и положил приговор на стол.

Тычков прочёл его весь — а там четыре страницы, и три из них о раскладке податей. Читал он медленно, ведя пальцем, шевеля губами, и один раз вернулся на полстраницы назад, будто там было что-то важное.

Потом сказал:

— Тут написано «мещанин Кострин».

— Так точно.

— А в свидетельстве «мещанин Илья Никитин Кострин».

— Это тот же человек.

— Я не спорю, что тот же, — сказал Тычков. — Я говорю, что написано по-разному.

Я стоял.

За окном стоял белый августовский полдень, и на этом свету он выглядел совсем маленьким — сидящий за столом, аккуратный, довольный, единственный человек в Затонье, у которого сейчас было ко мне дело.

И я понял.

Не сразу — мне было шестьдесят три года, но здешние вещи я в тот год понимал медленно, как иностранец понимает шутки. Я понял, что дело не в приговоре, не в приписке и не в том, как написана фамилия. Дело в том, что в четверг, три недели назад, я не встал из-за стола.

Он не мог мне отказать. Отказ пишется, отказ мотивируется, отказ можно обжаловать, а я умел обжаловать лучше, чем он умел отказывать. Он мог только тянуть. И он тянул — не для того, чтобы я не уехал, а для того, чтобы я приходил. Ходил бы и приходил, стоял бы и стоял, а он сидел.

Это была вся его власть, до последней капли. И она была настоящая.

Я это осознал и следом осознал вторую вещь, и вот она мне не понравилась.

Я мог кончить всё в одну минуту.

Пахомов бы написал жалобу, и я знал, куда её подавать; но жалоба идёт три недели, а занятия начинались через две. Можно было бы через Курочкина, старика-математика, — у него в Ольхове был знакомый, но просить Курочкина значило втянуть Курочкина.

А можно было поклониться.

Просто поклониться. Снять шапку, наклонить голову и сказать: «Порфирий Игнатьевич, будьте милостивы». Это стоило ничего. Это стоило ровно столько, сколько стоит наклонить голову на пятнадцать градусов и поддержать её так секунду.

Я стоял и думал об этом с полминуты.

Я, помню, попробовал вызвать в себе какое-нибудь чувство — гордость, отвращение, злость. Ничего не пришло. Пришёл расчёт: две недели, занятия, сто сорок часов, мать, Ксения. И на другой чаше — пятнадцать градусов.

Я снял шапку.

— Порфирий Игнатьевич, — сказал я. — Будьте милостивы. Мне бы к сроку успеть. И поклонился.

Он не обрадовался.

Вот чего я не рассчитал. Я думал, он будет доволен, — а он посмотрел на меня, и лицо у него стало пустое, как у человека, которому дали то, о чём он просил, и это оказалось не то.

Потому что он-то хотел не поклона. Он хотел, чтобы я его боялся или чтобы я его уважал, а лучше бы и то и другое; а я отмерил ему ровно пятнадцать градусов, как отсыпают крупу, и он это увидел.

Он взял перо и написал представление. Писал минут пять, крупно, с нажимом, высунув кончик языка.

Потом посыпал песком, стряхнул и протянул.

Я взял и прочёл — это уже была привычка, читать всё, что дают.

Представление было составлено правильно. Форма соблюдена, статья указана, ходатайство изложено. И в самом конце, там, где полагается сведение о поведении поднадзорного, стояло:

«Поведения хорошего. Родной брат его, Пётр Никитин Кострин, казнён по приговору за умышление против особы наместника, о чём донесено особо».

Ни слова неправды. Ни слова лишнего. Обе фразы имели право там стоять.

— Спасибо, — сказал я.

— Не за что, — сказал Тычков.

И это, пожалуй, была единственная искренняя вещь, которую он мне сказал за одиннадцать лет.

Исправник положил резолюцию в тот же день, не глядя. Ему было всё равно; у него в уезде было двести поднадзорных, и мальчишка, едущий учиться, был из них наименьшей заботой.

Проходное свидетельство выдали в понедельник.

Собирался я недолго. Собрать было нечего: две смены белья, аттестат, свидетельство, проходной вид, шестнадцать рублей — всё, что осталось от Мошкина после четырёх месяцев.

Последним я вынул из-под тюфяка сложенные листы.

Их было десять. Первый — тот, с кляксой, с двенадцатью на лавке и тремором на двадцать второй минуте. Дальше девять таких же, писанных за зиму на оборотах испорченных копий: сколько человек сидит в разные дни, сколько раз приказчик смотрит на часы, кто приходит второй раз в неделю, а кто раз в месяц, и как меняется число в мясоед и как в пост.

Я перебрал их, сложил вчетверо и сунул за подкладку.

Потом поглядел на сундук, на котором спал одиннадцать месяцев.

Открывать не стал. Незачем: там лежали чужие чертежи, а у меня в кармане была своя бумага, и своя бумага работала. Она добыла мне приписку, свидетельство, представление и проходной вид. Она вывела меня из третьего разряда. Мой инструмент был при мне и был исправен.

Я застелил сундук покрывалом, чтобы мать могла ставить на него что-нибудь.

Провожали до заставы.

Мать не плакала. Она вообще после того вечера со штопкой почти перестала со мной говорить не по делу: спрашивала, поел ли, взял ли, не забыл ли, — и всё.

У шлагбаума она перекрестила меня и сказала:

— Пиши.

— Буду.

— Не как ему пиши, — сказала она. — Ему пиши. По-простому. Здоров, сыт, вот и всё. Я обещал.

Ксения стояла рядом, босая, в платке, повязанном по-бабьи. Она за год вытянулась, и платье было ей коротко.

— Илюш.

— Что?

— А ты вернёшься?

Я хотел сказать «конечно». Я успел открыть рот и не сказал, потому что за спиной у меня было сорок один год чтения чужих биографий, и я слишком хорошо знал, сколько таких «конечно» стоит.

— Постараюсь, — сказал я.

Она подумала.

— Ладно, — сказала она. — Это лучше.

Подвода тронулась.

Я оглянулся один раз, от поворота. Они стояли у шлагбаума: мать в чёрном, Ксения в платке. Дальше дорога уходила за кособок, и больше я их не видел одиннадцать лет.

До Ольхова шли двое суток, с ночёвкой в Шелоховой слободе.

Последний перегон я ехал с горшечником, который вёз посуду и всю дорогу молчал, а на подъезде вдруг разговорился — из тех людей, что молчат в пути и говорят, когда приехали. Он рассказал, что раньше возил в Ольхов дважды в месяц, а теперь раз.

— Отчего?

— Стоять стал больше.

— Где стоять?

— Известно где, — сказал он и поглядел на меня искоса. — Ты чей будешь-то?

— Свой.

— Ну свой так свой.

Я сидел на его горшках, придерживая их на ухабах, и думал не о матери и не о Ксении.

Я думал о том, что поклониться оказалось легко.

Это меня и занимало всю дорогу, все двое суток, и потом ещё много лет. Не то, что я поклонился, — а то, что это ничего мне не стоило. Я всю прежнюю жизнь полагал, что у человека есть вещи, которых он не сделает; я даже писал об этом, и, кажется, неплохо. А оказалось, что стоит поставить на другую чашу две недели и сто сорок часов — и вещь, которой не сделаешь, делается сама, за полминуты, и ты идёшь дальше.

Тогда я решил, что просто повзрослел.

Потом, много позже, я понял, что в тот день впервые узнал о себе главное. И что человек, который однажды выяснил, как дёшево ему обходится поклон, будет всю жизнь искать, что ещё обойдётся дёшево.

И почти всегда находить.

Глава 7. Занавеска в рубчик

Ольхов был втрое больше Затонья и оттого казался мне не городом, а недоразумением.

Я приехал в сумерках, слез у Гостиного двора и первые полчаса просто стоял, пропуская мимо себя людей. В Затонье в это время суток на улице никого нет. Здесь шли — с работы, в лавки, из лавок, — и все шли быстро, и никто ни на кого не смотрел.

Я, помню, подумал: вот и хорошо.

Это была первая по-настоящему приятная мысль за четыре месяца, и я поймал её и рассмотрел. Меня здесь никто не знал. Здесь не было ни одного человека, который, услышав фамилию, отвёл бы глаза. Дьякон не переходил на другую сторону, потому что дьякон был за двести вёрст.

За четыре месяца я привык считать, что у меня всё отняли. И только на площади у Гостиного двора сообразил, что взамен мне дали одну вещь, которая кое-чего стоит.

Меня никто не знал.

Прежде чем искать угол, надо было явиться в часть.

Это я знал, потому что это было написано в проходном свидетельстве на обороте: поднадзорный по прибытии обязан в трёхдневный срок явиться к местному приставу для водворения на учёт. Три дня давали времени осмотреться. Я решил не осматриваться и пошёл сразу — по опыту Тычкова я уже понимал, что всякая просрочка потом всплывает.

Часть помещалась на Соборной, в жёлтом доме с колоннами. Пристав оказался занят, дежурный чиновник — нет.

Он взял свидетельство, прочёл, взял книгу, нашёл страницу.

— Адрес.

— Ещё не снял.

— Как не снял? Мне писать надо.

— Я сегодня приехал.

Он посмотрел на меня поверх очков — устало, без всякого интереса.

— Ну и что мне с тобой делать?

— Я приду завтра и скажу адрес.

— «Приду»... — Он поворчал, но записал: фамилию, откуда, по какому делу состоит под надзором. На «по какому делу» рука его пошла ровнее — он это писал много раз.

— Смотри, — сказал он, не поднимая головы. — Отлучаться из города не смей. Съедешь с квартиры — заявишь в тот же день. Не заявишь — за тобой придут и спросят, отчего не заявил. Понял?

— Понял.

— Ступай.

На улице я развернул свидетельство и посмотрел на новую запись. Почерк был торопливый, скучный, канцелярский — совсем не тот старательный, с нажимом, к которому я привык за зиму.

И мне стало от этого почти легко. В Ольхове я был не Кострин, чей брат, — я был строчка номер сто двенадцать в книге поднадзорных.

Угол я искал два дня и понял про этот город ещё одну вещь: здесь всё стоило дороже, а стоило меньше.

В первом месте, на Дворянской, просили пять рублей за комнату с обедом, и это было прилично и мне не по карману. Во втором, у вдовы почтового чиновника, комната была за

три, но хозяйка, узнав, что я поднадзорный, разговаривала со мной уже стоя в дверях и всё поглядывала в сени.

— Вы не думайте, я ничего, — сказала она наконец. — Только у меня дочери.

Я не стал спрашивать, при чём тут дочери.

В третьем, четвёртом и пятом местах было дёшево и мерзко: сырость, клопы, по шесть человек в комнате, и хозяин, который сразу заговорил о том, что деньги вперёд за три месяца.

Портного Вейса мне назвали в лавке, где я покупал бумагу.

— Кузнечная, дом Свешникова, во дворе, — сказала лавочница. — У него студент съехал, женился. Он тихий, только шьёт рано.

Карл Иванович Вейс был маленький, сухой, с редкими волосами, зачёсанными поперёк лысины, и с очками на шнурке. Он открыл дверь, посмотрел на меня снизу вверх и первым делом спросил:

— Кушать дома будете?

— Нет.

— Хорошо, — сказал он с явным облегчением. — Кухня плохая.

Комната была одна, большая, в два окна, и в ней помещалось всё: две койки по разным углам, стол у окна, полка, швейная машина на отдельном столике и раскроечный стол вдоль всей стены. Койки были отгорожены занавесками.

— Два рубля, — сказал Вейс. — Дрова мои. Свечи ваши. Мыть полы по очереди, я записываю. Шью с шести утра, это надо знать сразу, потому что потом обижаются.

— Я привык рано.

— Все так говорят, — сказал Вейс.

Он показал мою половину. Занавеска была из старой подкладочной ткани, в мелкий рубчик, серо-зелёная, и висела на верёвке, провисая посередине.

— Окно у Овсянникова, — сказал Вейс. — Он раньше приехал.

— Кто?

— Сосед. — Вейс поправил очки. — Он хороший. Только говорит.

Митя Овсянников вернулся к вечеру, увидел меня, обрадовался так, будто мы условились встретиться, и не переставал говорить до одиннадцати.

Он был второкурсник, круглолицый, с расстёгнутым воротом и мягкими руками. За два часа я узнал, что он из Шелоховой слободы; что отец у него дьякон, но не служит, а торгует; что в Ольхове он третий год и всё знает; что Ланге — старый дурак, а Первушин — голова; что на медицинском девушки, но к ним не подступиться; что в кухмистерской Пеговой щи за пятак, а хлеб общий, и это главное.

— Ты откуда?

— Затонье.

— Затонье! — обрадовался он так, будто я сказал «Париж». — Мы почти соседи. Хочешь папиросу?

Я не хотел. Он всё равно дал.

Я курил и слушал, и раскладывал по местам: этот честолобив, этот пьёт, эти двое воюют из-за кафедры двадцать лет. Обыкновенная жизнь обыкновенного заведения. Я такие знал наизусть — я сорок один год прожил в такой же.

— А ты чего молчишь?

— Слушаю.

— Ты странный, — сказал Митя с удовольствием. — Ты как будто старше.

Я посмотрел на него.

— Тебе сколько?

- Двадцать.
- А мне семнадцать.
- Вот я и говорю, — сказал Митя. — Странно.

Ночью я лежал и смотрел в занавеску.

Она приходилась вровень с лицом, и в темноте рубчик был не виден, а угадывался. За стеной у Вейса скрипнула кровать. На улице проехали, и по потолку прошла полоса от фонаря на оглобле.

Я думал о том, что вот сейчас, в эту минуту, я впервые с площади нахожусь среди людей, которые ничего обо мне не знают, — и что это, оказывается, называется отдыхом.

А потом подумал, что мать сейчас, наверное, штопает.

Я не то чтобы соскучился. Я честно попробовал соскучиться и обнаружил, что не выходит: у меня к матери Ильи не было сыновнего чувства, у меня к ней было чувство человека, который живёт в чужом доме и старается не сломать мебель. Тело помнило её иначе — тело в первые недели тянулось к ней, и я это в себе гасил, потому что от этого делалось совсем нехорошо.

Я лежал и думал: она перекладывает бумаги, Ксения спит, сундук стоит в сенях под покрывалом.

И заснул на этом, и это был первый раз, когда я заснул, не считая денег.

Глава 8. Числиться

Матрикул мне выдали шестнадцатого сентября, в четверть двенадцатого.

Я запомнил время, потому что смотрел на часы над дверью канцелярии, пока писарь выводил моё имя. Часы были большие, с медным маятником, и отставали — я это заметил, сверив с боем на соборе, и почему-то отметил про себя, что в заведении, где учат точным вещам, часы в канцелярии отстают на семь минут.

Мне выдали книжечку в синей обложке. В ней было моё имя, факультет и печать.

А со следующей страницы начиналось то, ради чего всё делалось: отметка о зачислении, с которой в уездное полицейское управление отправлялось уведомление, а из управления — в присутствие по повинности, и на основании этого уведомления мне полагалась отсрочка на всё время учения.

Я вышел на крыльцо и постоял.

Было пасмурно, с реки тянуло, во дворе кто-то смеялся. Я держал в руке книжечку в синей обложке и понимал, что четыре месяца работы кончились и что сто сорок часов в год с меня сняты — не навсегда, а на четыре года, но четыре года это очень много, если тебе семнадцать, и очень мало, если тебе шестьдесят три.

Я, помню, попробовал обрадоваться.

Радости не было. Было облегчение — плоское, вещественное, как когда снимаешь тяжёлый мешок. И следом сразу пришла мысль, что четыре года пройдут и надо будет что-то придумывать дальше.

Так у меня было и в прежней жизни со всеми моими книгами: выходила книга, и я целый день ждал, что вот сейчас станет хорошо, и не становилось. Я думал, это возрастное. Оказалось, характер.

Первую лекцию по римскому праву читал профессор Ланге.

Аудитория была амфитеатром, скамьи чёрного дерева, окна высокие. Народу набилось человек восемьдесят, потому что курс был обязательный.

Ланге вошёл ровно в девять — сухой старик в вицмундире, с портфелем, из которого достал книгу и очки. Книгу он положил на кафедру, раскрыл на закладке, надел очки и начал читать вслух.

Я подождал минут пять, думая, что это вступление.

Это было не вступление. Он читал книгу. Свою собственную, изданную в шестьдесят четвёртом году, — я потом посмотрел в библиотеке, она там стояла в двенадцати экземплярах, и на форзаце одного было написано карандашом: «стр. 41 — врёт».

Восемьдесят человек записывали за ним.

Они записывали быстро, привычно, склонившись, и скрип восьмидесяти перьев стоял в аудитории ровный, как дождь. Ланге читал в удобном для записи темпе — с паузами в нужных местах; за двадцать лет он выучил, где студенту надо дать догнать.

Я сидел на четвёртой скамье и минут десять не мог понять, что меня так злит.

Потом понял.

Я знал этот материал. Не как студент — как человек, который читал потом ещё сто книг об этом же и видел, во что все эти построения превратились через полтора столетия. Ланге излагал добросовестно и был неправ примерно в трети случаев, и не по глупости, а потому, что в шестьдесят четвёртом году иначе не думали и думать не могли.

Он честно передавал заблуждение своего времени. Восемьдесят человек это заблуждение переписывали.

На третьей лекции я поднял руку.

Это вышло почти нечаянно. Ланге читал о происхождении сервитутов и привёл объяснение, которое к тому времени уже лет двадцать как было опровергнуто находками — не в его мире, а в моём, и я это понял только на середине собственного вопроса, но было поздно.

— Господин профессор, позвольте.

Скрип перьев прекратился.

Ланге поднял голову и посмотрел на меня поверх очков. У него было хорошее старое лицо, усталое, с обвисшими веками.

— Слушаю.

— Вы выводите сервитут из соседского права. Но если принять вашу же посылку о раннем происхождении, то получается, что сервитут старше самого понятия собственности, из которого вы его выводите. Это круг.

Я говорил вежливо. Я всю жизнь сидел на защитах и знал, как задают такие вопросы, чтобы не обидеть.

Ланге молчал секунды три.

Потом сказал:

— Как ваша фамилия?

— Кострин.

— Первый курс?

— Первый.

— Кострин, — сказал Ланге, — вы прочли параграф о происхождении?

— Прочёл.

— Тогда вы должны были заметить, что там оговорено: рассуждение ведётся в предположении развитого оборота. — Он перевернул страницу. — Продолжим.

Скрип возобновился.

Оговорено там ничего не было — я проверил вечером, и параграф был именно такой, каким я его помнил. Ланге это знал. Он не солгал, он просто закрыл вопрос единственным доступным ему способом, и сделал это, как делают все старые люди, у которых нет сил переделывать книгу, написанную двадцать лет назад.

Мне даже не было обидно. Мне было жалко — и его, и себя, и восемьдесят человек, которые всё записали, включая слова про развитый оборот.

После лекции ко мне подошли двое.

Первый — Митя, разумеется. Митя был в восторге.

— Ты его срезал!

— Я его не срезал.

— Срезал, срезал. Все видели.

Второй подошёл молча. Это был высокий, чуть сутулый студент с рябоватым лицом, старше нас — на вид года двадцать четыре.

— Овсянников, отойди на минуту, — сказал он.

Митя отошёл, оглядываясь.

— Вы новый?

— Новый.

— Из уезда?

— Из Затонья.

— Понятно. — Он помолчал. — Вы поднадзорный?

Я не ответил.

— Не отвечайте, — сказал он спокойно. — Я так спросил, чтоб вы знали, что это видно. У поднадзорных походка другая — они на входе оглядываются на швейцара. Я третий год смотрю.

— И что?

— И то, что вам с вашей манерой задавать вопросы надо решить, чего вы хотите: понимать или доучиться. Вместе не выходит.

Он сказал это без нажима, как говорят о погоде.

— Ланге вам ничего не сделает, он безобидный. А инспектор Верещагин ведёт список тех, кто говорит на лекциях. Список короткий, и попасть в него легко, а выйти нельзя.

— Вы меня предупреждаете?

— Я вам сообщаю, — сказал он. — Предупреждать я вас не обязан.

И пошёл.

Я потом спрашивал, кто это. Мне сказали: Аносов, с юридического, четвёртый курс, тихий, ни с кем не дружит, говорят, у него сестра в Крутом Логу учительствует.

К вечеру я об этом забыл.

Больше я руку не поднимал.

Не из страха — из расчёта, и в этом было самое неприятное. Мне не нужно было знать римское право. Мне нужно было **числиться**: отсрочка полагалась учащимся, а не понимающим, и всякий раз, открывая рот, я делался заметен, а заметность стоила дороже, чем удовольствие быть правым.

Так что я сидел и переписывал вместе со всеми.

Рука была тренированная — после Пахомова я успевал за Ланге вдвое и в оставшееся время смотрел в окно, где над крышами тянуло дым и мело первую крупу. Иногда, чтобы не заснуть, я записывал не за Ланге, а от себя: как бы я читал этот курс, если бы читал его.

Выходило коротко. Часа на три вместо годового.

Это, пожалуй, самое унижительное, что случилось со мной за всю ту осень. Хуже допроса у Тычкова, хуже занавески в рубчик, хуже поклона. Шестьдесят три года, две монографии, одна из них переведена на два языка, — и я сижу на четвёртой скамье и списываю чужую устаревшую книгу, чтобы не сидеть на ремнях.

И ещё: я делал это хорошо.

Тетради у меня выходили аккуратные, с полями, с подчёркнутыми определениями. Ланге в ноябре похвалил мою тетрадь при всех и сказал, что вот как надо записывать.

Я поблагодарил.

Глава 9. Плата за слушание

Мой расчёт был неверен, и я узнал об этом на второй неделе.

Считал я так: угол два рубля, еда два сорок, свечи сорок копеек, итого без малого пять. Шестнадцать рублей — три месяца с небольшим, а за три месяца я найду уроки.

Я не учёл трёх вещей, и все три были очевидны любому здешнему человеку.

Первое: сапоги. Мои развалились к концу октября — подошва отошла у носка, и в сырую погоду нога промокала за десять минут. Починка — рубль двадцать. Новые — четыре с половиной, и я долго стоял у лавки, соображая, что дешевле в конечном счёте, и решил чинить, и через месяц чинил снова.

Второе: книги. Я наивно полагал, что в университете книги дают. Книги давали в библиотеке, но по спискам, а списки были на семестр вперёд, и «Пандекты» Ланге — те самые, которые он читал вслух, — числились за студентами четвёртого курса до Рождества. Своими руками я переписывал их сам, по вечерам, из читальни; это выходило бесплатно и стоило мне трёх часов в день.

А третье было то, что я обязан был знать и не знал.

Объявление висело в вестибюле с первого дня, и я мимо него ходил три недели.

«Плата за слушание лекций вносится в два срока: к 1 ноября и к 1 марта, по двенадцати рублей пятидесяти копеек. Не внесшие в срок исключаются».

Двадцать пять рублей в год.

У меня было одиннадцать с копейками.

Я стоял перед этим объявлением дольше, чем перед циркуляром, который вывесят через месяц, и, если говорить честно, испугался я в тот раз сильнее.

Потому что тут не было ни щели, ни статьи, ни усмотрения. Плата вносится к первому ноября. Не внесшие исключаются. Исключённый теряет отсрочку. Всё было написано прямо и работало без всякого произвола, и обжаловать арифметику было некому.

До первого ноября оставалось двадцать три дня.

Освобождение от платы существовало.

Я нашёл его в тот же вечер: недостаточные студенты могли быть освобождены полностью или наполовину, по прошению, с приложением свидетельства о бедности от общества или полиции, — по постановлению правления университета.

Я даже начал писать прошение и бросил на середине.

По постановлению правления. То есть по усмотрению.

Я представил себе, как это будет: моё прошение ляжет в стопку из сорока таких же, и кто-то — вероятно, инспектор Верещагин, у которого списочек, — будет их разбирать. Свидетельство о бедности мне даст полиция. Полиция при этом сообщит, что проситель состоит под гласным надзором по делу о брате, казнённом за умышление против особы наместника.

Я знал, чем это кончится. Мне не отказали бы грубо — мне бы просто не ответили до первого ноября.

Оставалось найти двенадцать рублей пятьдесят копеек за двадцать три дня.

Уроки в Ольхове искали все, и я пошёл тем же путём, что все: доска в вестибюле, где вешали объявления, и знакомства.

На доске висело четыре записки, и все четыре были содраны в первый же день. Митя сказал, что так всегда: настоящие места идут через людей, а на доске — то, что никому не нужно.

— Через кого?

— Ну через кого... Через тех, у кого берут.

— А у кого берут?

Митя подумал.

— У кого фамилия хорошая.

Он сказал это без всякой задней мысли, доброжелательно, и был совершенно прав.

Я обошёл девять домов за одиннадцать дней. Я снова научился считать шаги.

В восьмом доме мне отказали, и я вышел на улицу, и вот тут со мной случилось то, о чём я потом думал много лет.

Я стоял на углу Дворянской и Мещанской, в мокрых сапогах, с последними одиннадцатью рублями, и вдруг понял, что ни в одном из восьми домов меня не спросили о брате.

Не отвели глаз. Не помялись. Не сказали «вы поймите». Мне отказывали потому, что уже взяли, или потому, что дорого, или потому, что я слишком молод и в семнадцать лет какой из меня наставник, — то есть по обыкновенным причинам, по которым отказывают всем.

Меня здесь никто не знал.

Я стоял на углу и — это стыдно, но так было — чуть не засмеялся вслух. Четыре месяца я жил как человек, у которого на лбу написано; и вот я приехал за двести вёрст, и оказалось, что написано не на лбу, а в бумаге, а бумага лежит в части, и её никто, кроме дежурного чиновника, не читает.

Тогда я впервые подумал ту мысль, которая потом сделается моей профессией.

Человека определяет не то, кто он есть, а то, где о нём записано. Перевези запись — и человек станет другим. А если запись не перевозить вовсе, если сделать так, чтобы её нельзя было связать с человеком, — то человека, в известном смысле, не будет.

Я замёрз и пошёл в девятый дом.

В девятом взяли.

Титулярный советник Опалин, столоначальник казённой палаты, жил на Мещанской в собственном доме с мезонином. Сына звали Володя, тринадцать лет, второй год во втором классе гимназии.

Опалин принял меня в кабинете, где стоял большой глобус, к которому, судя по пыли, никто не подходил.

— Латынь? — спросил он.

— Латынь.

— Арифметика?

— Арифметика.

— Пятьдесят копеек за урок, три раза в неделю. Согласны?

— Согласен.

— Он ленив, — сказал Опалин просто. — Не глуп, а ленив. Меня в его годы драли, и я выучился. Его драть жена не даёт. Так что вы уж как-нибудь.

Он помолчал и добавил:

— И вот что. Если он вам скажет, что у него голова болит, вы не верьте. У него голова болит по вторникам и четвергам, а по средам не болит, потому что по средам он не занимается.

Я посчитал: три урока по полтиннику — полтора рубля в неделю, шесть в месяц.

Не хватало.

Я помолчал секунду и услышал в собственной голове тот же голос, каким говорил в урядничкой: «Порфирий Игнатьевич, будьте милостивы». Тот же ровно отмеренный, вежливый, ничего мне не стоящий голос.

— Господин Опалин. Могу я просить об одолжении?

— Ну.

— Могу я получить вперёд за месяц?

Он посмотрел на меня внимательно — первый раз за разговор.

— За что?

— За плату за слушание. Первое ноября.

Опалин побарабанил пальцами по столу.

— Я вам дам вперёд за два, — сказал он наконец. — Двенадцать рублей. Отработаете. Только уговор: если бросите на середине, я на вас в правление напишу.

— Не брошу.

— Все не бросают, — сказал Опалин.

Он отпер ящик, отсчитал двенадцать рублей и записал в книжечку — я успел увидеть, что у него всё записано, и суммы, и даты.

Здесь тоже кто-то писал.

Плату я внёс двадцать девятого октября, за два дня до срока.

Кассир в канцелярии пересчитал, выдал квитанцию, поставил отметку в матрикуле. Вся операция заняла минуты три.

Я вышел во двор и сел на скамью, хотя было холодно и сидеть было незачем.

Меня трясло — не от холода, а от отпущенного напряжения, как трясёт после того, как несёшь что-то тяжёлое и наконец ставишь.

И вот тут я поймал себя на том, что за двадцать три дня ни разу не вспомнил ни про мать, ни про Ксению, ни про Петра. Я думал только о двенадцати рублях пятидесяти копейках. Двадцать три дня подряд, с утра до ночи, вся моя голова была занята суммой, на которую в моей прежней жизни я обедал.

Я посидел ещё немного, встал и пошёл на урок к ленивому Володе Опалину, у которого по вторникам болела голова.

Уроки были по вторникам, четвергам и субботам, с шести до восьми. Это значило, что читальня для меня закрывалась: она работала до девяти, а с Мещанской до неё идти двадцать минут.

Значит, «Пандекты» надо переписывать ночью.

Значит, свечи.

Я на ходу пересчитал: две свечи в неделю вместо одной — восемьдесят копеек в месяц вместо сорока.

Ну хорошо. Хорошо. Это я вытяну.

Глава 10. Общий хлеб

Кухмистерская Пеговой была в подвале на Кузнечной, три ступеньки вниз, и там всегда стоял пар, потому что дверь открывали чаще, чем следовало.

Щи — пять копеек. С мясом — семь. Каша — три. Чай — копейка, с сахаром — две, но сахар брали редко, потому что сахар был вприкуску и его полагалось два кусочка, а два кусочка — это несерьёзно.

Хлеб лежал на столах общий, в плетёных корзинах, нарезанный толстыми ломтями, и его не считали.

В этом была вся Пегова.

Она сама выросла в бедности, вышла за приказчика, овдовела и десять лет держала подвал, и за десять лет усвоила простую вещь: студент, который берёт щи за пятак и съедает полкаравая, вернётся завтра, и послезавтра, и через год приведёт младшего брата. А хлеб стоит дёшево.

Она стояла у раздачи, крупная, с красными руками, и говорила всем одно и то же:

— Хлеб бери, хлеб бери. Чего сидишь.

Иногда, если кто-нибудь третий день брал только чай, она молча ставила перед ним щи и отходила. Про это знали все и не говорили вслух.

Я обедал там с ноября, каждый день, кроме воскресений.

Первое время я садился с краю и ел быстро, потому что не хотел разговаривать. Потом привык, а потом обнаружил, что привык не только я: у меня появилось место — второй стол от печки, с торца, — и если я приходил, а там кто-то сидел, он пересаживался.

Так входишь в жизнь: не решением, а тем, что за тобой закрепляется место у печки.

За тем же столом обедали: Митя; студент-медик Шелагин, длинный, с горящими глазами, который говорил больше всех; поляк Матусевич, молчаливый, с юридического, — он всегда приносил с собой книгу на польском и читал её между ложками, не поднимая глаз, и за полгода я так и не узнал, что это за книга; и Гуськов — тихий, невзрачный, в поношенной, но всегда чистой тужурке, которого я в первые месяцы почти не замечал и потом не мог вспомнить, когда он появился за столом впервые.

За Гуськовым я заметил только одно, да и то не сразу: он никогда не брал общий хлеб. Все брали, и я брал, и Матусевич брал, а он всегда покупал свой ломоть за копейку и клал рядом с тарелкой. Я решил тогда, что это гордость — бывает такая злая бедняцкая гордость, когда человеку легче голодать, чем взять даровое.

Говорили обо всём. О Ланге, о том, что в анатомическом театре опять протекла крыша, о войне на юге, которой не было, но которую все ждали, о том, что в Крони студентам разрешили носить пальто вместо шинелей, а у нас нет.

Я больше слушал.

Один раз Шелагин, разгорячившись, сказал, что покуда есть Право Крови, все мы, и первого разряда, и второго, рабы, и стукнул ложкой по столу.

— Тише ты, — сказал Матусевич.

— А что тише? Что тише? Тут все свои.

— Тут подвал, — сказал Матусевич. — Свои и не свои.

Шелагин махнул рукой.

Гуськов ел кашу и не поднимал головы, и я, помню, отметил, что он единственный, кто вообще никак не отозвался, — и тут же отвлёкся, потому что Митя начал рассказывать, как ему в аптеке продали не тот порошок.

Зима встала в конце ноября, и город переменялся.

Река замёрзла, и по льду пошли напрямик, срезая версту. С крыш свисало. Дворники скалывали лёд у ворот, и этот звук — сухой, дробный, с раннего утра — я потом всю жизнь связывал с Ольховом.

По вторникам, четвергам и субботам я ходил на Мещанскую к Володе Опалину.

Володя был толстый, добродушный и ленивый именно так, как обещал отец: не тупой, а совершенно лишённый всякой причины что-либо делать. Он честно смотрел на меня, честно кивал и через десять минут переставал слышать.

К декабрю я нашёл к нему подход, и подход этот был позорный: я стал платить ему за работу. Не деньгами — временем. Двадцать минут занятий — пять минут, в которые я рассказывал ему что-нибудь. Про то, как в Индии добывают перец. Про то, что земля старше, чем написано в его учебнике. Про войну, которой не было.

Он слушал раскрыв рот и работал двадцать минут как вол.

Я делал это и понимал, что делаю. Я, историк, читавший лекции взрослым людям, торговал знаниями поштучно с ленивым гимназистом, потому что иначе он не склонял третье спряжение.

И, честно говоря, эти пять минут были лучшим временем моей недели.

С Митей мы поссорились в середине декабря, из-за трёх рублей.

Он занял их у меня в начале месяца — на пальто, не на своё, а на подарок какой-то Наденьке с медицинского, к которой, по его словам, наконец-то подступился. Три рубля.

Я дал.

Я дал, потому что у меня как раз получилось от Опалина, потому что Митя просил весело и стыдливо, и потому что отказать человеку, с которым живёшь за одной занавеской, физически трудно, и я это знал заранее и всё равно дал.

К двадцатому у меня кончились деньги на угол.

Вейс спросил про плату в среду, буднично, между двумя строчками на машине:

— Илья Никитич, вы завтра или в пятницу?

— В пятницу.

— Хорошо.

Он не настаивал. Он был приличный человек. Но у него была книжечка, куда он записывал, и в книжечке против моего имени за декабрь стояло пусто, и мы оба это знали.

Вечером я сказал Мите.

— А, — сказал он. — Слушай, вот прямо сейчас нет. Отец пришлёт к Рождеству, я сразу отдам.

— Мне в пятницу платить.

— Ну ты займи у кого-нибудь, — сказал Митя. — А я отдам, и ты вернёшь.

Он сказал это совершенно искренне, и в этом было всё дело.

— Митя. У кого я займу?

— Ну у Шелагина.

— У Шелагина нет.

— Тогда у Матусевича.

— Митя, — сказал я. — У меня всё, что есть, это то, что я зарабатываю. У меня нет отца, который пришлёт к Рождеству. Понимаешь? Совсем нет. Ничего нет, кроме уроков.

Митя посмотрел на меня и — я это видел — искренне попытался понять.

И не смог.

Не потому, что он был чёрствый; он был добрый малый. Просто он не мог вообразить положения, в котором внизу ничего нет. У него внизу всегда что-то было: отец в Шелоховой, дядька в Ольхове, тётка ещё где-то. Он мог падать, и падать было куда.

— Ну ты чего злишься-то, — сказал он растерянно. — Я же отдам.

— Я не злюсь.

— Злишься.

Я не злился. Я в ту минуту с холодным удивлением наблюдал, как во мне окончательно оформляется правило, которое потом стоило мне многих людей.

Никогда не давать того, чего тебе самому не хватит.

Не «не давать» — это я бы не выдержал; а именно: сперва посчитать, что останется, и если останется меньше нужного — не давать, как бы ни просили и как бы стыдно ни было.

Деньги я нашёл: пошёл к Опалину и попросил вперёд ещё за две недели.

Он дал, но посмотрел уже иначе — и записал в книжечку, и я видел, как он записывает.

— Кострин, — сказал он, не отрываясь. — Вы третий раз берёте вперёд.

— Второй.

— Второй, — согласился он, сверившись. — Ну, второй. Вы поймите, я не попрекаю. Я вам как старший скажу: кто берёт вперёд, тот всегда живёт вчерашним днём. Так всю жизнь и проживёте, если не остановитесь.

Он был совершенно прав, и я это знал лучше него.

К февралю по курсу пошли мои тетради.

Началось это глупо. Митя перед коллоквиумом попросил у меня записи, потому что свои прогулял, и я дал. Он вернул через день и сказал:

— Слушай, у тебя тут не как у Ланге.

— Не как.

— А короче.

— Короче.

— И понятнее, — сказал Митя с некоторым даже возмущением. — Ты чего молчал-то?

Я не молчал. Я просто с сентября, чтобы не заснуть на лекциях, писал не за Ланге, а от себя: как бы я читал этот курс, если бы читал его. Выходило втрое короче и без того, что я считал заблуждением шестьдесят четвёртого года.

Тетрадь у меня попросил Шелагин. Потом кто-то с третьего курса, которого я не знал. Потом ко мне подошли двое, которых я не знал вовсе, и спросили, нельзя ли переписать.

К марту по курсу ходило штук пятнадцать списков, и назывались они «костринские тетради», и я про это узнал случайно, стоя в очереди в канцелярию: впереди двое спорили, у кого чей список и кто кому должен вернуть.

Ни один из них меня не знал в лицо.

Я стоял за ними и слушал, и, помню, подумал только то, что это удобно: раз ходят списки, значит, мне не надо никому ничего объяснять устно, а объяснять устно — это заметность.

Больше я об этом тогда ничего не подумал.

Митя отдал три рубля восьмого января, после Рождества, весь сияющий, и ещё привёз из Шелоховой гуся, и мы ели этого гуся втроём с Вейсом, и Вейс достал наливку, и было хорошо.

Мы помирились в тот же вечер, и дружили ещё два года, и он был мне хороший товарищ.

Но занимать я ему больше не давал ни разу и всегда находил причину, и он это заметил — не сразу, месяца через три, — и один раз сказал:

— Ты изменился.

— В чём?

— Не знаю. Ты как будто всё время считаешь.

— Считаю, — сказал я.

Он засмеялся, потому что подумал, что это шутка.

Глава 11. Циркуляр

Городской вывод в Ольхове стоял на Мещанской, за квартал до дома Опалина, и я ходил мимо него три раза в неделю с ноября.

Первые месяцы я проходил не глядя. Не из брезгливости — просто спешил: от университета до Мещанской двадцать минут, а урок в шесть, и если задержаться, Володя успевал придумать, что у него болит голова.

В феврале я остановился.

Ольховский вывод был не чета затонскому. Не бронзовый столб под дранкой, а целое сооружение: длинный кирпичный навес, под ним три шины в ряд, и лавки не одна, а шесть, по обе стороны. Всё чистое, крашеное, с фонарями; при входе будка и в будке — счётчик часов, чтобы каждый видел, сколько ему записано.

На лавках сидело человек тридцать.

И вот что я разглядел не сразу: половина из них была в студенческих шинелях.

Я стоял и смотрел, как они сидят — с книгами, с тетрадями; двое, пристёгнутые рядом, спорили о чём-то и один тыкал пальцем в страницу; один спал, свесив голову. Это была не казнь и не мучение. Это была очередь в присутственном месте, скучная, как всякая очередь, и оттого гораздо хуже.

Я достал из-за подкладки свои десять листов.

Первый раз с сентября. Они слежались по сгибу, и на верхнем, с кляксой, чернила уже порыхтели.

Двенадцать на лавке. Один под навесом. Шина одна. Тремор на двадцать второй минуте — у одного из двенадцати.

Я поднял глаза и стал считать заново.

Тридцать один на лавках. Три шины. Приказчиков двое — один сидел в будке и вёл счёт, второй держал ладонь на средней шине и читал газету, придерживая её свободной рукой на весу.

Я простоял час.

Тремора не было ни у кого. Ни на двадцать второй минуте, ни на сороковой. К концу часа один парень в шинели зевнул и потянулся, насколько позволял ремень, — и всё.

Я пересчитал. Тридцать один против двенадцати, три шины против одной. И на выходе — люди, которые не шатаются и идут своей дорогой, тогда как в Затонье после часа человек не мог читать до вечера.

Значит, дело не в том, сколько берут. Дело в том, на скольких делят.

Я записал это на одиннадцатом листке, стоя, на колене, у кирпичного столба, и почерк вышел скверный, потому что пальцы задубели.

А потом стоял ещё минут пять и думал совсем не о том.

Я думал, что если разделить на тридцать одного — терпимо, а если на двенадцать — уже нет. И что где-то есть число, при котором становится всё равно. И что я понятия не имею, как это число называется и от чего оно зависит, и что человек, который это знал бы, наверное, был бы инженером, а я историк и умею только считать чужое.

На урок я пришёл с опозданием на двадцать минут, и Володя успел придумать голову.

Слух пошёл в конце февраля, и сначала — как всё в таких местах — в виде глупости.

Митя пришёл вечером, сел на койку прямо в шинели, не отряхнув снега, и сказал:

— Отсрочку режут.

Я не поднял головы от тетради.

— Кто сказал?

— Все говорят.

— «Все» — это кто?

— Ну... — Митя задумался. — Шелагину сказал брат, а брату — писарь в присутствии.

— То есть один писарь.

— А чего ты придираешься? — обиделся Митя. — Я тебе говорю, что говорят.

Я не поверил и оказался неправ, и это был хороший урок, который я потом применял всю жизнь: слухи в закрытых местах почти всегда врут в подробностях и почти никогда не врут в главном. Врёт не источник — врёт пересказ.

Через три дня выписку вывесили в вестибюле.

Я ходил читать её дважды.

В первый раз — вместе со всеми, в толчее, где через головы читали вслух и перебивали. Во второй — рано утром, до занятий, когда в вестибюле никого не было, кроме сторожа, топившего печь.

Я переписал её целиком, стоя, на колене, огрызком карандаша, на обороте старого расписания. Привычка уже была.

Циркуляр был короткий.

Во исполнение видов правительства о равномерном отправлении повинности всеми состояниями, отсрочка учащимся впредь предоставляется лицам первого и второго разрядов. Лицам третьего разряда отсрочка может быть предоставлена по особому в каждом случае ходатайству учебного начальства, с утверждения попечителя округа.

Я прочёл это шесть раз и всё понял с первого.

«Может быть предоставлена по особому ходатайству». Три слова, из которых вся сила в первом.

До этой бумаги моё право стояло в законе, и никто не мог его отнять, не отменив закона. После неё моё право зависело от того, попросят за меня или не попросят. Не отняли — переложили. Из графы «положено» в графу «если сочтут возможным».

Я стоял и очень спокойно, очень отчётливо считал.

Ходатайствует учебное начальство. Учебное начальство — это инспектор Верещагин и правление. У правления таких третьеразрядных наберётся, положим, полтора человека. Ходатайств будет подано полтора, утвердят, скажем, сто.

Кого не утвердят?

Тех, о ком в бумагах что-нибудь есть.

А в бумагах у меня было следующее: состоит под гласным надзором; родной брат казнён по приговору за умышление против особы наместника; записано крупным старательным почерком с нажимом, человеком, который до сих пор помнит, что записал это сам.

Меня не утвердят. Не из злобы — из осторожности. Ни один человек в здравом уме не станет ходатайствовать за брата казнённого, когда рядом лежат сто прошений от людей без всяких особых обстоятельств.

Я вышел из вестибюля и пошёл на лекцию, и всю лекцию считал одно и то же и получал один и тот же ответ.

К вечеру о циркуляре говорил весь университет, и говорили так, как всегда говорят в первый день: громко и не о том.

У Пеговой было не протолкнуться. Шелагин стоял и говорил, что это оскорбление, и что нас держат за скот, и что дворянчикам, разумеется, ничего, а нам — ремни.

Ему хлопали.

— И что делать? — спросил кто-то.

— Не ходить! — сказал Шелагин. — Всем не ходить на лекции. Пусть читают пустым стенам.

Ему хлопали ещё сильнее, хотя через две недели были испытания и не ходить не соби-
рался никто, включая Шелагина.

Я сидел на своём месте у печки и ел щи.

— А ты чего молчишь? — спросил Митя.

— Ем.

— Тебя-то это как раз касается.

— Знаю.

— Ну так скажи что-нибудь!

Я посмотрел на него. Он смотрел с настоящим, дружеским ожиданием: он был уверен, что если человека задела, то человек должен встать и сказать.

— А что сказать? — спросил я. — Шелагин уже всё сказал.

— Шелагин говорит про рабов.

— Вот и я про то же.

Митя не понял и обиделся, а я доел щи и пошёл в читальню, потому что «Пандекты» сами себя не переписут.

По дороге я думал не о циркуляре.

Я думал о том, что за полгода в Ольхове я не сделал ни одной вещи, которая была бы моей. Я учился тому, что знал; переписывал книгу, которую считал устаревшей; учил ленивого мальчика; считал копейки. Всё это было выживание, и выживание получалось — а больше ничего не было.

И что теперь его тоже не будет.

Ночью я не спал и наконец сформулировал то, что вертелось с утра.

Циркуляр меня не то чтобы возмущал. Он был обыкновенный: так делают всегда и везде, и в моём мире делали, и я об этом писал.

Возмущало меня другое — и вот это я сформулировал только к трём часам, лёжа и глядя в невидимый рубчик занавески.

Все семьдесят человек, которые сегодня кричали у Пеговой, — они знали, что отсрочку режут. И ни один из них не прочёл циркуляра.

Шелагин говорил про оскорбление. Митя пересказывал Шелагина. Кто-то предлагал не ходить на лекции. И никто, ни один человек, не сделал того, что делается в первую очередь: не положил рядом два текста — закон и распоряжение — и не посмотрел, сходятся ли они.

А они не сходились.

Я понял это ещё утром, в вестибюле, и до вечера не придавал этому значения, потому что искал, что делать мне, а не что делать всем.

Положение о повинности утверждено в законодательном порядке. Пункт девятнадцатый: отсрочка учащимся. Без разрядов, без оговорок, без «по усмотрению». Циркуляр — распоряжение попечителя учебного округа. Попечитель вправе разъяснять применение закона. Он не вправе сузить круг лиц, которым закон предоставил право.

Это не мнение. Это статья вторая Учреждения министерств, и всякий стряпчий покажет её за двугривенный.

Я лежал и думал: и что?

Ну да, циркуляр незаконен. Правление применит его завтра же и будет применять, пока кто-нибудь не заставит его перестать. Незаконность бумаги ничего не значит, пока она не написана на другой бумаге, поданной куда следует и зарегистрированной в журнале входящих.

Пока она не написана.

Я сел на койке.

За занавеской ровно дышал Митя. У Вейса скрипнуло — он вставал в шестом, значит, ещё спал.

Я сидел в темноте и первый раз за полгода чувствовал не расчёт, не усталость и не облегчение, а совершенно определённое, злое и почти весёлое желание: чтобы у меня сейчас была бумага, чернила и три часа.

Бумага была. Чернила были.

Свечу я зажигать не стал — она была последняя до субботы, — и просидел так до рассвета, составляя в голове прошение по пунктам.

К утру оно было готово целиком, включая ссылки.

Оставалось найти семьдесят человек, которые его подпишут, и вот это, как я тогда думал, было самой простой частью дела.

Глава 12. Кто записывает

Сходку назначили на четверг, после восьми, в старой анатомической аудитории — она пустовала с тех пор, как построили новую.

Я не собирался идти.

Я сорок один год читал протоколы таких собраний. Я знал, чем они кончаются: сходятся восемьдесят человек, семьдесят молчат, десять говорят, из десяти двое говорят дельно, и всё это оканчивается либо ничем, либо списком. Список — хуже.

Пошёл я потому, что дело касалось меня лично, а на всё, что касалось меня лично, я в тот год ходил, как ходят к зубному врачу: неохотно и обязательно.

В аудитории не топили с весны.

Скамьи спускались амфитеатром к столу, на котором когда-то резали, а теперь стояли две свечи и чей-то узел с чем-то мягким. Пахло карболкой — не свежей, застарелой, въевшейся в дерево, — и мокрой одеждой: с улицы шёл снег с дождём, и все вошли сырые.

Народу набралось человек семьдесят.

Дверь в коридор притворили, но не заперли: запертая дверь на сходке — это уже улика, а притворённая — это просто дверь.

Говорили долго и плохо.

Говорили о произволе. Говорили, что это оскорбление, что нас держат за скот. Шелагин, длинный, с горящими глазами, сказал, что мы не рабы, и ему хлопали. Другой предложил не ходить на лекции неделю, и ему хлопали тоже, но меньше, потому что через две недели были испытания.

Третий начал говорить, что дело не в отсрочке, а в самом устройстве, и что покуда есть Право Крови, все мы, и первого разряда, и второго, рабы, — и его перебили, потому что это все и так знали, а толку в этом не было никакого.

Часа полтора я просидел на верхней скамье у стены и мёрз.

Меня разбирала злость, и злость была холодная, служебная — та самая, какую я всю жизнь испытывал к плохо сделанной работе. Семьдесят человек второй час обсуждали бумагу, которой никто из них не читал. Они знали, что отсрочку режут. Они не знали, чем именно циркуляр отличается от закона, и, что хуже, не считали нужным узнать.

Внизу Шелагин во второй раз пошёл про рабов.

Я встал.

Не потому, что решился. Просто затекла спина.

— Можно?

Обернулись. Кто-то сказал: «Пусть».

Кто-то другой, ближе, сказал вполголоса: «Это Кострин, у которого тетради», — и я услышал, и это оказалось важнее, чем всё, что я потом говорил.

Меня знали. Не в лицо — по спискам, которые ходили по курсу с февраля. Пятнадцать человек переписали мои записи, эти пятнадцать дали переписать другим, и к марту вышло так, что аудитория была отчасти уже подготовлена: она про меня слышала.

Я тогда этого не оценил. Я думал, что меня слушают, потому что я говорю дельно.

— Циркуляр попечителя противоречит закону, — сказал я. — И это можно показать на бумаге.

Стало тише. Не от восхищения — от неожиданности: я говорил не тем голосом, каким там говорили. Тише и суше.

— Пункт девятнадцатый Положения о повинности: учащимся, на всё время учения, отправление отсрочивается. Без разрядов. Без оговорок. Без «по усмотрению». Я его переписывал двадцать раз и знаю наизусть.

Кто-то внизу хмыкнул. Пусть.

— Циркуляр вводит разряды и особое ходатайство. Циркуляр — распоряжение попечителя учебного округа. Попечитель вправе разъяснять применение закона. Он не вправе сузить круг лиц, которым закон предоставил право. Это не моё мнение, это статья вторая Учреждения министерств, и всякий стряпчий покажет её вам за двугривенный.

Я говорил ещё минуты три.

Про то, что «не ходить на лекции» — это ровно то, чего от нас ждут: тогда нас можно уволить за неявку, и никакого циркуляра не потребуется, и виноваты будем мы сами.

Про то, что надо писать прошение — не жалобу, а прошение, с указанием статей, и подавать через инспекцию, потому что тогда его обязаны принять и обязаны ответить письменно.

Про то, что письменный ответ — это уже документ. А с документом можно идти дальше, и там, наверху, где решают, никто не станет ссориться из-за ста пятидесяти человек, если бумага составлена так, что отвечать по ней неудобно.

— Шуметь бесполезно, — сказал я под конец. — Шум они умеют. Бумагу — хуже.

И сел.

Секунды три было тихо.

Потом хлопнули — сначала где-то внизу, потом по всей аудитории, и хлопали громче, чем Шелагину. Митя рядом колотил в ладоши и оглядывался на соседей с таким лицом, будто это он меня родил.

— Записать! — крикнули снизу. — Кто грамотный — статьи записать!

— Пункт девятнадцатый! — повторил кто-то. — Как дальше?

Я продиктовал.

Ко мне полезли — жали руку, спрашивали, откуда я это взял, и я объяснял, что просто читал, и мне не верили: думали, скромничаю. Шелагин подошёл и сказал без всякой обиды: «Ты дело говоришь», и я подумал, что он, пожалуй, славный малый и что зря я о нём так.

Мне было хорошо.

Я это отчётливо помню, и мне до сих пор неловко: мне было хорошо. Шестьдесят три года, две монографии, одна переведена на два языка, — а я сидел в холодной анатомичке и грелся оттого, что семьдесят мальчишек мне похлопали.

За полгода в Ольхове я ни разу не был нужен ни одному человеку — кроме Опалина, которому был нужен репетитор, и Вейса, которому были нужны два рубля. А тут я вдруг понадобился семидесяти сразу, и это оказалось так приятно, что я перестал считать.

Вот чего я себе потом не простил. Не того, что говорил. Того, что в те десять минут я перестал считать.

Договорились так: прошение составляю я, подписи собирает Шелагин, подаём через инспекцию в понедельник.

Расходились долго и по двое-трое, как условились, чтобы не толпой.

Я задержался — искал перчатку, свалившуюся между скамьями. Пока шарил, поднял голову.

Внизу, у стола со свечами, стоял Гуськов и писал.

Он писал в маленькую книжечку, стоя, придерживая её ладонью на весу, и писал быстро — заметно быстрее, чем пишут студенты. Свеча была рядом, и я видел, как он раз, не отрываясь, обмакнул карандаш в рот и продолжил.

Я посмотрел на него секунды две или три.

И подумал: молодец, статьи записывает. Правильно делает, а то переврут.

Нашёл перчатку, надел и пошёл к выходу.

У двери меня нагнал Аносов — тот, с четвёртого курса, рябоватый, который в сентябре предупреждал меня про списочек.

— Кострин.

— Да.

— Вы хорошо говорили.

— Спасибо.

— Я не хвалю, — сказал он. — Я к тому, что вас теперь семьдесят человек знают по фамилии. Вы понимаете, что это значит?

— Что прошение подпишут.

— Что подпишут, — согласился он. — И что если из семидесяти хоть один окажется не тем, кем кажется, то в бумаге у инспектора против циркуляра будет стоять одна фамилия. Не Шелагина, который кричал. Ваша, который объяснил, как это делается.

Я посмотрел на него.

— Вы предлагаете молчать?

— Я ничего не предлагаю, — сказал Аносов. — Я вам сообщаю, как в прошлый раз. Предлагать я не мастер.

Он натянул шапку.

— Прощение, кстати, дельное. Я подпишу.

И вышел первым.

На улице подморозило, снег с дождём кончился, и под ногами хрустело.

Митя всю дорогу говорил, что теперь-то они увидят, и что надо завтра же садиться, и что я, оказывается, тёмная лошадка, и почему я раньше молчал.

Я слушал вполуха и думал, что прошение надо составить в трёх экземплярах.

Один подать. Один оставить у себя с распиской в получении — без расписки бумага не существует. Один отдать на сторону человеку, который не подписывал: если первые два пропадут, третий останется.

Дома я зажёл свечу и сел писать, и писал до четырёх, и получилось хорошо: две страницы, восемь пунктов, четыре ссылки, ни одного лишнего слова и ни одного слова о справедливости.

О человеке с книжечкой я в тот вечер больше не вспомнил ни разу.

Глава 13. В трёх экземплярах

Прошение я переписывал четыре раза и на четвёртый выбросил из него всё, что мне самому нравилось.

Первый вариант, написанный в ночь после сходки, был хорош — и никуда не годился. Там было место, где я объяснял, что право, поставленное в зависимость от чужого усмотрения, перестаёт быть правом. Место было верное и написано неплохо.

Я его вычеркнул.

Потому что бумага не должна быть умной. Бумага должна быть неудобной.

Умную бумагу читают, кивают и кладут под сукно: с ней можно не соглашаться, а раз можно не соглашаться, значит, можно и не отвечать. Неудобная бумага устроена иначе: в ней нет ничего, с чем можно спорить, зато есть вопросы, на которые нельзя не ответить, и ссылки, которые нельзя не проверить.

К утру четверга осталось две страницы. Восемь пунктов. Четыре ссылки. Ни одного слова о справедливости, ни одного о достоинстве, ни одного о том, что мы не рабы.

Только: закон говорит так; распоряжение говорит иначе; просим разъяснить, на каком основании применяется второе.

Шелагин прочёл и остался недоволен.

— Сухо.

— Да.

— Тут ни слова о том, что это несправедливо.

— Тут ни слова о том, что это несправедливо, — согласился я.

— А почему?

Мы сидели у Пеговой, вдвоём, в третьем часу, когда подвал пустеет. Пегова гремела ведрами за перегородкой.

— Шелагин, — сказал я. — Кому вы это подаёте?

— Инспектору. Потом в правление.

— Кто в правлении будет читать?

— Не знаю. Секретарь, наверное.

— Секретарь, — сказал я. — Чиновник тринадцатого класса, сорока лет, у которого таких бумаг на столе восемнадцать штук. Он читает первые три строки и решает: подшить или доложить. Если в первых трёх строках стоит «несправедливо», он подшивает, потому что несправедливость — это не его компетенция и отвечать по ней он не обязан. Если стоит «противоречит статье такой-то», он обязан доложить, потому что если не доложит и это всплывёт — спросят с него.

Шелагин молчал.

— Вы хотите, чтобы бумагу прочли и возмутились. А надо, чтобы её испугались.

— Это подлю как-то.

— Это грамотно.

Он подумал ещё и сказал:

— Ладно. Но я всё равно считаю, что несправедливо.

— И я считаю, — сказал я. — Только я это считаю не в бумаге.

Подписи собирали в пятницу и субботу.

Я думал, что это будет самая лёгкая часть. Семьдесят человек хлопали в анатомичке; сто пятьдесят третьеразрядных по спискам; казалось бы, подписывай да подписывай.

Подписали тридцать восемь.

Отказывались по-разному, и я потом много лет вспоминал этот список отказов, потому что он оказался точным чертежом всякого человеческого общества.

Одни отказывались прямо: «Я не хочу неприятностей». Таких было меньше всего, и я их уважал больше прочих.

Другие соглашались и не приходили. Обещали зайти вечером, потом говорили, что заходили, а меня не было; потом переставали здороваться первыми.

Третьи — и вот их было больше всех — объясняли.

Один объяснял, что подписывать надо, но не сейчас, а после испытаний. Другой — что бумага составлена неправильно и он бы составил лучше, а под неправильной подписываться не станет. Третий — что он бы подписал, но у него отец служит. Четвёртый — что вообще всё это ерунда, потому что попечитель через месяц отменит циркуляр сам, вот увидите.

А один, из первого разряда, сын землевладельца, сказал мне удивлённо и совершенно искренне:

— А меня-то это зачем? Меня не касается.

Он был прав. Его не касалось.

Я тогда впервые увидел то, что потом увижу ещё сто раз и в конце концов положу в основу всего, что построю: людей объединяет не общая беда, а общая беда **сегодня**. У кого беда завтра — тот уже не с вами. У кого позавчера — тот тем более.

Митя подписал первым и был этим горд неделю.

Матусевич подписал, ничего не сказав, и вернулся к своей польской книге.

Аносов подписал, как обещал, и добавил только:

— Тридцать восемь — это много. Я думал, будет двадцать.

— Я думал, будет семьдесят.

— Вы думали неправильно, — сказал он. — Хлопать — бесплатно.

Гуськов подписал в субботу вечером, последним.

Он подошёл сам, когда я уже сворачивал листы, и сказал, что искал меня со среды. Расписался аккуратно, мелко, поставил точку и подул на чернила.

— Спасибо, — сказал я.

— Не за что, — сказал Гуськов. — Дело общее.

Он единственный из тридцати восьми сказал это вслух.

Три экземпляра я переписал в ночь на воскресенье.

Один — подать. Один — оставить у себя, и на нём должна быть расписка канцелярии в получении: бумага, поданная без расписки, не существует, её можно потерять, и никто никогда не докажет, что она была.

Третий — отдать на сторону.

Про третий я думал дольше всего. Отдавать его кому-нибудь из тридцати восьми было бессмысленно: если возьмутся за нас, возьмутся за всех сразу. Нужен был человек вне списка.

В воскресенье вечером я подошёл к Вейсу.

Он сидел за машиной — он и по воскресеньям сидел за машиной, потому что говорил, что руки отвыкают.

— Карл Иванович. Просьба.

— Слушаю.

Я положил на раскроечный стол запечатанный пакет.

— Здесь бумага. Мне нужно, чтобы она полежала у вас. Может быть, полгода, может, год. Открывать не надо. Если я попрошу — отдадите. Если со мной что-нибудь случится — тоже отдадите, тому, кто назовёт вам моё полное имя и отчество.

Вейс перестал строчить.

Он снял очки — он всегда снимал очки, когда собирался думать, — протёр их полой и надел обратно.

— Это против закона?

— Нет.

— Это опасно?

Я подумал и ответил честно:

— Для меня — может быть. Для вас — нет, если вы не будете открывать.

Вейс посмотрел на пакет.

— Я жил в Митаве, — сказал он вдруг. — До восемьдесят второго года. У меня там был брат.

Он не стал объяснять, что было с братом, а я не спросил.

Он встал, отодвинул раскроечный стол, поддел стамеской третью доску от стены — она отошла легко, видно было, что её отдирали не первый раз, — и положил пакет в подполье.

— Тут сухо, — сказал он. — Я сюда деньги кладу.

И поставил стол на место.

В понедельник, в одиннадцатом часу, мы подали.

Пошли втроём: я, Шелагин и Матусевич — я нарочно выбрал так, чтобы был поляк, потому что если бы взяли одних русских, потом сказали бы «поляки мутят», а с поляком в составе так уже не скажешь, скажут иначе, но по крайней мере не сразу.

В канцелярии сидел писарь, немолодой, в нарукавниках.

Он взял прошение, посмотрел на подписи — тридцать восемь фамилий в два столбца — и брови у него поползли вверх.

— Это что?

— Прощение.

— Вижу, что прошение. Это коллективное?

— Это прошение тридцати восьми лиц, изложенное на одном листе.

— Коллективные не принимаются, — сказал писарь с явным облегчением.

— Покажите, где это написано.

Он посмотрел на меня.

— Что?

— Покажите правило, по которому не принимаются. Я подожду.

Тишина.

Шелагин рядом переступил с ноги на ногу. Матусевич смотрел в окно с таким лицом, будто он тут случайно.

Правила такого не было. Я знал это точно: я два вечера читал Инструкцию о делопроизводстве в учебном округе, и там сказано только, что прошения принимаются от лиц, имеющих в деле законный интерес, и что отказ в приёме допускается лишь по основаниям, в законе указанным.

Писарь этого не знал. Но он знал другое: что человек, который просит показать правило, обычно приходил не один раз, и что если правила нет, а он откажет, то потом может быть неприятность, и неприятность будет его.

— Ладно, — сказал он. — Давайте.

— И расписку.

— Какую расписку?

— В получении. По форме — на втором экземпляре: входящий номер, дата, подпись.

Он посопел.

— Много вы знаете для первого курса.

— Я мещанин, — сказал я. — Мы народ бумажный.

Он усмехнулся — неожиданно по-человечески — взял мой второй экземпляр, обмакнул перо, вывел номер, дату и расчеркнулся.

— Держите. Ответ будет через правление. Когда — не знаю.

На улице Шелагин хлопнул меня по спине так, что я качнулся.

— Ну! Видал? Он же прямо испугался!

— Он не испугался. Он посчитал.

— Один чёрт!

Матусевич закурил, затянулся и сказал:

— Пан Кострин.

— Да.

— Вы теперь номер тридцать восьмой в списке из тридцати восьми. Или номер первый.

— В каком смысле?

— В том смысле, в каком у вас говорят «кто первый начал», — сказал Матусевич. — Мы подписали. Вы написали. Это, извините, разные вещи, и на бумаге это видно.

Он бросил спичку в снег.

— У меня отец в шестьдесят третьем подписывал. Не он писал — он подписывал. Ему дали три года. Тому, кто писал, дали двенадцать.

И пошёл.

Я стоял на крыльце канцелярии, держа в руке второй экземпляр со свежей распиской — входящий номер триста шесть, восемнадцатое марта, — и первый раз с ночи после сходки подумал не о деле, а о себе.

Расписка была настоящая победа. Бумага принята, номер есть, отвечать теперь обязаны.

И на этой бумаге, под тридцатью восемью подписями, самой первой строчкой стояло, чьей рукой она составлена. Потому что почерк у меня был приметный — отцовской школы, ровный, с правильным наклоном, — и в канцелярии Ольховского университета лежало теперь двенадцать моих тетрадей и одно прошение, написанное одной и той же рукой.

Я подумал об этом секунд десять.

А потом решил, что это ничего, потому что мы правы, а правым бояться нечего.

Глава 14. Кои того заслуживают

Три недели не происходило ничего, и это были хорошие три недели.

Я потом много раз замечал за собой эту способность и не считаю её достоинством: пока дело подано и ответа нет, я умею жить так, будто дела нет вовсе. Не тревожиться, не гадать, не бегать в канцелярию. Тревога — расход, а расходов я не любил.

Так что я сдавал испытания.

Испытания шли с двадцатого марта. У Ланге я отвечал по его же книге, слово в слово, включая параграф о происхождении сервитутов и оговорку о развитом обороте, которой в книге не было. Он поставил «весьма удовлетворительно» и сказал, что рад видеть, как молодой человек исправился.

Я поблагодарил.

В университете тем временем стояло то настроение, которое я знаю лучше всех прочих и которое всегда предшествует беде.

Все были уверены, что победили.

Началось с малого: секретарь правления, столкнувшись в коридоре с Шелагиным, сказал ему, что «бумага ваша ходит». Через два дня кто-то видел, как инспектор Верещагин нёс папку к ректору. Ещё через день по курсам пошёл слух, что попечителю доложено и что попечитель недоволен — не нами, а тем, что ему подсунули непроверенный циркуляр.

Слух был приятный, и потому в него поверили сразу и целиком.

Шелагин ходил именинником. Митя рассказывал в кухмистерской, как всё было, и с каждым разом я в его рассказе говорил всё длиннее и убедительнее; к третьему пересказу я произносил в анатомичке речь минут на двадцать, чего не было.

— Ты пойми, — говорил мне Митя, — они же не ожидали. Они думали, мы пошумим и разойдёмся. А тут — бумага.

— Угу.

— Ты чего кислый?

— Я не кислый. Я жду ответа.

— Так тебе же сказали, что ходит!

— Мне сказали устно, — сказал я. — А устно — это ничего.

Митя махнул рукой и пошёл рассказывать дальше.

Ответ пришёл девятого апреля.

Я узнал об этом не в канцелярии, а у Пеговой, потому что Шелагину сказал знакомый писарь, а Шелагин прибежал в подвал и заорал с порога:

— Кострин! Ответили!

Подвал загудел. Кто-то встал. Кто-то полез обниматься. Пегова из-за перегородки крикнула, чтоб не орали.

— Что ответили?

— Что удовлетворено! Ходатайства будут поданы за всех!

— Ты видел бумагу?

— Мне писарь сказал!

Я взял шинель и пошёл в канцелярию.

Бумага была.

Мне выдали её без разговоров — я числился подателем, и по расписке мне полагалось. Полулист, канцелярская скоропись, две печати.

Я прочёл её стоя, у окна, и читал минуты три, хотя там было девять строк.

На прошение за входящим 306 от 18 марта сего года правление имеет честь уведомить, что предусмотренное циркуляром попечителя учебного округа ходатайство о предоставлении отсрочки будет возбуждено установленным порядком в отношении всех учащихся третьего разряда, кои того заслуживают.

Я прочёл ещё раз.

Потом ещё.

Ни одного слова о статье второй. Ни одного слова о том, может ли распоряжение сузить закон. Ни одного слова о моих восьми пунктах и четырёх ссылках.

И при этом — не отказ. Формально это был не отказ, а удовлетворение: ходатайство будет возбуждено, установленным порядком, в отношении всех.

Кои того заслуживают.

Четыре слова в самом конце, после запятой, в том месте, где бумаги обычно уже никто не читает.

Я сел на подоконник в коридоре и просидел там, наверное, четверть часа.

Это было сделано хорошо. Вот что меня в тот день поразило больше всего — и я говорю это как человек, сорок один год разбиравший чужие канцелярии: это было сделано **очень хорошо**.

Они не стали спорить со мной о законе. Спорить о законе — значит признать, что вопрос спорный, а признав, отвечать по существу. Они просто не заметили вопроса.

Они не отказали. Отказ обжалуется. Отказ нужно мотивировать. Отказ — это дверь, в которую можно постучать ещё раз.

Они удовлетворили. Полностью, в отношении всех.

И вставили четыре слова, которые не значат ничего и позволяют всё.

Кто заслуживает — решит тот, кто будет возбуждать ходатайство. То есть инспектор Верещагин. То есть тот самый человек, который ведёт списочек тех, кто говорит на лекциях, и у которого на столе с восемнадцатого марта лежит бумага с тридцатью восемью подписями и почерком, который он видел в двенадцати тетрадах.

Я сидел на подоконнике и почти восхищался.

А потом подумал, что восхищаться будет некогда, потому что через две недели список ходатайств уйдёт наверх, и меня в нём не будет.

В подвале у Пеговой в тот вечер пили.

Шелагин достал где-то две бутылки красного, дешёвого, кислого; пили из чайных стаканов, потому что других не было. Пегова сделала вид, что не видит.

Меня посадили в середину и заставили говорить.

Я сказал несколько слов — что бумага сделала своё дело, что теперь надо дожидаться списка, и что до тех пор ничего не менять и не шуметь. Мне похлопали. Шелагин крикнул, что за Кострина, и все выпили за Кострина, и Митя обнял меня за шею и сказал, что я гений, и что он всегда знал.

Я сидел с ними до одиннадцати.

Я мог сказать. Мог встать и прочесть вслух эти девять строк, и объяснить, что значит «кои того заслуживают», и что тридцать восемь человек только что получили в руки бумагу, по которой их будут перебирать поштучно.

Я не сказал.

Я и потом, когда думал об этом, не мог до конца понять, почему. Отчасти потому, что не был уверен и хотел проверить. Отчасти потому, что портить людям вечер, когда решение всё равно принято не ими, — это расход без прибыли.

Но главное было другое, и в этом я себе признался только через год.

Мне нравилось, как они на меня смотрели.

Я знал, что в списке меня не будет. И знал, что когда это выяснится, смотреть на меня будут иначе — и не потому, что я виноват, а просто потому, что на человека, которого выкинули, всегда смотрят иначе.

Значит, оставалось две недели, в которые я был тем, кто написал бумагу и победил.

Я эти две недели взял.

Домой шли с Митей.

Подмораживало, снег осел и стал крупчатым, и в лужах хрустело ледяное стекло. Митя был пьян и счастлив и говорил без остановки: про Наденьку, про то, что летом поедет в Шелухову и возьмёт меня с собой, про то, что мать у него печёт такие пироги, каких я не ел.

Потом вдруг спросил:

— Илюш. А ты чему-нибудь радуешься вообще?

Я подумал.

— Радуюсь.

— Чему?

— Что расписку взял.

Митя засмеялся так, что поскользнулся, и я его поймал за рукав.

— Ты страшный человек, — сказал он с восторгом. — Ты знаешь, что ты страшный человек?

— Знаю, — сказал я.

Дома я не стал зажигать свечу. Разделся в темноте, лёг и долго лежал, глядя в невидимый рубчик занавески.

Я думал не о списке и не о Верещагине.

Я думал о том, что за все три недели ни один из тридцати восьми не спросил меня, а как, собственно, обстоят дела лично у меня. Все спрашивали, что будет с нами. И это было правильно, и я сам так поставил дело.

Просто в бумаге, которую я написал, слово «я» не встречалось ни разу.

Глава 15. Вас исключит расписание

Инспектор Верещагин вызвал меня двадцать третьего апреля, к двум часам.

Записку принёс служитель прямо в аудиторию, во время лекции, и это само по себе было сообщением: вызывают не через доску объявлений, а с занятий, при всех.

Митя проводил меня взглядом. Я сложил тетрадь и вышел.

Кабинет инспектора был угловой, с двумя окнами и видом на двор, где сохли на верёвке половики.

Верещагин оказался не тем, кого я ожидал.

Я ожидал сухого службиста с холодными глазами — так их всегда описывают, и в моей прежней жизни я сам сто раз так писал. А за столом сидел полный человек лет пятидесяти, с одышкой и добродушным помятым лицом, в мундире, который был ему тесен в поясе. На столе стояла чашка с остывшим чаем и лежали три стопки бумаг, и одна была много выше других.

— Кострин? Садитесь.

Я сел.

Он порылся, вынул папку, раскрыл, полистал.

— Так, — сказал он. — Значит, вы у нас автор.

— Прощение подписано тридцатью восемью лицами.

— Подписано тридцатью восемью, — согласился Верещагин. — Написано одним.

Он повернул папку ко мне.

Там лежало моё прошение — тот самый первый экземпляр, — а рядом, аккуратно подложенная, одна из моих тетрадей по римскому праву. Та, которую Ланге в ноябре хвалил при всех.

— Я не почерковед, — сказал Верещагин, — и мне не надо. Я двадцать два года смотрю на студенческие руки. Вот это и вот это писал один человек.

— Я не отпираюсь.

— Вот и хорошо, — сказал он с явным облегчением. — Терпеть не могу, когда отпираются. Час уходит.

Он закрыл папку и отодвинул.

— Ну-с. Вы, наверное, приготовили речь.

— Приготовил.

— Говорите.

И я сказал.

Я говорил минут семь и говорил хорошо — лучше, чем в анатомичке, потому что в анатомичке я говорил семидесяти мальчишкам, а здесь одному человеку, который понимал каждое слово.

Пункт девятнадцатый Положения. Статья вторая Учреждения министерств. Разница между разъяснением и изменением. Практика Сената по трём делам, которые я нашёл в томе, стоявшем у Пахомова. То, что «кои того заслуживают» не является установленным законом критерием, а следовательно, при применении подлежит истолкованию в пользу общего правила, а общее правило — пункт девятнадцатый.

Я даже не волновался. Я сорок один год этим занимался.

Верещагин слушал внимательно, не перебивая. Один раз, на Сенате, поднял брови и что-то пометил на клочке — я успел заметить, что он записал номер дела.

Когда я кончил, он помолчал.

Потом сказал:

— Вы совершенно правы.

Я ждал не этого.

— Всё правильно, — сказал Верещагин. — И про статью вторую правильно, и про Сенат правильно, я эти дела помню, они в семьдесят девятом году были. Циркуляр незаконен. Я вам больше скажу: об этом ректору говорили ещё в феврале, до всякого вашего прошения.

— И что?

— И ничего, — сказал Верещагин. — Циркуляр действует.

Он придвинул чашку, обнаружил, что чай холодный, и отставил.

— Кострин, вы человек толковый, я вам объясню, как оно устроено, — сказал он. — Не для того, чтоб вас утешить, а чтоб вы не тратили время. У меня к вам, представьте, никакой злобы нет.

Он загнул палец.

— Первое. Незаконный циркуляр отменяет тот, кто его издал, или тот, кто над ним. Попечитель его не отменит: он его подписал, а признать, что подписал незаконное, — это извольте объяснять, почему подписал. Министерство его не отменит, покуда не случится скандала, а скандала из-за ста пятидесяти третьеразрядных не будет.

Второй палец.

— Второе. Сенат его отменил бы. Но в Сенат идут годами и с поверенным, а поверенный стоит денег, и не тех, что у вас. Вы за три года дойдёте. Вам через три года будет двадцать, и вы всё это время где будете? На лавке.

Третий палец.

— Третье, и это главное. Вы всё вывели верно, кроме одного: вы полагаете, что если бумага составлена правильно, то с ней обязаны считаться. Так вот, обязаны считаться не с правильной бумагой. Обязаны считаться с той, за которой стоит кто-то, кому неприятно отказать.

Он развёл руками.

— За вашей бумагой стоит тридцать восемь студентов третьего разряда. Это, простите, никто.

— Теперь о вас, — сказал Верещагин.

Он снова открыл папку.

— Ходатайство правление возбудит. Список я подаю в пятницу. В нём сто сорок три человека.

— А третьеразрядных сто пятьдесят один.

— Сто пятьдесят один, — согласился он.

— Кого нет в списке?

— Вас нет. И ещё семерых.

— По какому признаку?

Верещагин посмотрел на меня почти с удовольствием — так смотрит учитель на ученика, задавшего правильный вопрос.

— По признаку, — сказал он, — «кои того заслуживают».

Мы помолчали.

— Вы поймите, — сказал он наконец, и в голосе у него появилась какая-то усталая честность. — Я не злодей. Я подаю сто сорок три ходатайства, и это, между прочим, много, другой инспектор подал бы девяносто. Но за каждого я отвечаю. Если я подам за человека, у которого брат казнён по государственному делу, и мне это потом поставят на вид, — а поставят, — то что я скажу? Что он хорошо учится? Он действительно хорошо учится. Мне это не поможет.

— То есть дело в брате.

— Дело в брате, — сказал Верещагин. — И в том, что вы под надзором. И в том, что вы, простите, написали прошение своим почерком. Любого из трёх хватило бы.

— Я имел право написать прошение.

— Имели, — сказал он. — И я имею право не ходатайствовать. Мы оба в своём праве, Кострин. Так обычно и бывает.

Я спросил, что теперь.

Он объяснил спокойно и подробно, как объясняют расписание поездов.

Без ходатайства отсрочки нет. Уведомление уйдёт в присутствие по повинности первого мая. Присутствие вызовет меня на очередь; при моём разряде — сто сорок часов в год, и в Ольхове их разверстывают по одному часу, через день, в утренние смены, потому что вечерние заняты фабричными.

— Через день, утром, — сказал Верещагин. — А лекции у вас утром.

Он подождал, пока я досчитаю.

Досчитал я быстро. Пропуск более четверти лекций в полугодии — увольнение из числа студентов за неявку. Не по прошению, не по решению, не по чьему-нибудь злому умыслу: по табелю посещений, который ведёт служитель и сдаёт в канцелярию первого числа.

— Я вас не исключаю, — сказал Верещагин. — И правление вас не исключит, и ректор не станет мараться. Вас исключит расписание.

Вот тут это со мной и случилось.

Не в коридоре, не ночью, не когда пришла бумага. Именно в эту минуту, на стуле в угловом кабинете, напротив полного одышливого человека, который не желал мне никакого зла.

Я всё сделал правильно.

Я нашёл щель в законе и вылез из третьего разряда. Я собрал деньги и внёс плату за слушание в срок. Я не поднимал руку на лекциях. Я написал бумагу, к которой невозможно придраться, — восемь пунктов, четыре ссылки, ни одного лишнего слова. Я взял расписку с входящим номером. Я положил третий экземпляр в чужое подполье.

Я не сделал ни одной ошибки.

И всё это не имело никакого значения — потому что за моей бумагой не стоял никто, кому неприятно отказать.

Я сидел и очень отчётливо чувствовал, как из рук уходит инструмент. Не ломается — просто оказывается не тем инструментом. Как если бы человек всю жизнь чинил часы и вдруг обнаружил, что перед ним не часы, а камень, и отвёртка тут не поможет, и дело не в отвёртке.

Отвёртка была хорошая. Я хорошо ею владел.

— У вас есть ко мне вопрос? — спросил Верещагин.

— Есть, — сказал я. — Что нужно, чтобы отказать было неприятно?

Он посмотрел на меня внимательно, впервые за весь разговор — по-настоящему внимательно.

— Не понял.

— Вы сказали: считаются с той бумагой, за которой стоит кто-то, кому неприятно отказать. Я спрашиваю: сколько это? Тридцать восемь — никто. А сколько не никто? Тысяча? Десять тысяч? Или дело не в числе?

Верещагин помолчал.

Потом закрыл папку и сказал — уже не тем добродушным голосом, каким объяснял расписание:

— Ступайте, Кострин.

Во дворе сохли половики, и служитель бил их палкой, и от каждого удара шла пыль.

Я стоял на крыльце и не мог сообразить, куда идти.

На лекцию было незачем: я и так знал, что читает Ланге, а через месяц меня всё равно не будет. К Опалину — в шесть. К Пеговой — там сидят тридцать восемь человек, которые считают, что мы победили, и я должен им сказать, а я не знал как.

Я достал из-за подкладки свои одиннадцать листков. Не для того, чтобы читать, — просто чтобы держать в руках что-нибудь своё.

Верхний, с кляксой, порыжевший. Одиннадцатый, писанный в феврале у кирпичного столба на Мещанской: *дело не в том, сколько берут, а в том, на скольких делят*.

Я стоял с ними на крыльце инспекторского корпуса и думал, что за полгода дважды задал один и тот же вопрос — у вывода и вот сейчас, в кабинете, — и оба раза вопрос был про число.

Тогда я не понял, что это один и тот же вопрос.

Служитель добил половики, свернул их и ушёл, и во дворе стало тихо.

Глава 16. Все правильные ходы

Тридцати восьми я сказал в тот же вечер, у Пеговой, и сказал плохо.

Надо было сказать иначе — я потом сто раз это проигрывал. Надо было начать с того, что бумага сработала: сто сорок три ходатайства из ста пятидесяти одного — это много, другой инспектор подал бы девяносто, и это сделали мы. А я начал с себя.

Я сказал: в список меня не включили. Меня и ещё семерых.

Стало очень тихо.

Потом Шелагин спросил:

— Почему?

— Потому что у меня брат казнён по государственному делу, я под надзором и прошение писал моей рукой. Верещагин сказал: любого из трёх хватило бы.

Кто-то присвистнул. Кто-то сказал: «Сволочи». Митя смотрел на меня и моргал.

А потом парень с третьего курса — я его знал в лицо, он подписывал одним из первых — сказал:

— Так это что же. Из-за брата?

— Из-за брата.

— А ты... — Он замялся. — Ты знал?

Я не сразу понял вопроса. Потом понял и очень отчётливо, спокойно почувствовал, как у меня холодеет между лопатками.

Он спрашивал не «знал ли ты, что откажут». Он спрашивал: знал ли ты, когда садился писать нашу бумагу своим приметным почерком, что за тобой тянется брат.

— Знал, — сказал я.

— А сказал бы, — проговорил он, ни к кому не обращаясь. — Мы бы, может, кого другого попросили написать.

Никто ему не возразил.

Вот это молчание я запомнил лучше всего, что было в тот год. Не отказ Верещагина, не «кои того заслуживают». Молчание тридцати восьми человек в подвале, в котором очень ясно слышалось, что вопрос-то, в общем, законный.

Шелагин потом догнал меня на улице, тряс за плечи и говорил, что это свинство, что он завтра же соберёт всех и они напишут отдельно за меня, и что он лично пойдёт к ректору.

Он был совершенно искренен.

Он собрал двенадцать человек, написал бумагу, отнёс, и её приняли, и она ничего не изменила: ходатайство возбуждает инспекция, а не студенты, и просить инспекцию ходатайствовать — это просьба, а не право, и на просьбы отвечают, когда хотят.

Но я ему за это благодарен до сих пор. Из тридцати восьми он был единственный, кто вообще что-то сделал.

Дальше я две недели делал всё правильно.

Я перечисляю это не для жалости, а потому что перечень имеет значение: он показывает, что дело было не в моей глупости и не в лени. Я сделал ровно то, что сделал бы любой знающий человек, и в правильном порядке.

Первое. Жалоба попечителю на действия правления. Составил в трёх экземплярах, подал через канцелярию, взял расписку. Ответ пришёл через одиннадцать дней: жалоба возвращена, «поелику решения о возбуждении ходатайств принимаются учебным начальством в пределах предоставленного ему усмотрения и обжалованию в порядке надзора не подлежат».

Всё верно. Усмотрение нельзя обжаловать — оно потому и усмотрение.

Второе. Прощение о разъяснении в министерство. Отправил почтой, заказным, с уведомлением о вручении. Уведомление вернулось с подписью. Ответа не было ни через месяц, ни через полгода, ни когда-либо вообще.

Третье. Сенат. Тут я даже не начинал всерьёз: жалоба в Сенат подаётся через присяжного поверенного, поверенный берёт от полутора ста рублей, дело идёт два-три года. У меня было девять рублей сорок копеек и до первого мая — восемь дней.

Четвёртое. Свидетельство о бедности и освобождение от платы за слушание — на следующее полугодие. Тут мне даже отказали быстро и вежливо, и я не в претензии: правление имело полное право.

Четыре хода. Все верные. Все впустую.

Пятый ход придумал не я, а Опалин, и об этом стоит рассказать подробно.

Я пришёл к нему во вторник на урок, и он вышел в кабинет, где глобус, и сказал:

— Кострин. Мне Володя сказал, у вас неприятности.

Я объяснил в трёх фразах.

Опалин слушал, барабанил пальцами по столу, и вдруг перестал барабанить.

— Погодите, — сказал он. — Второй разряд — это кто?

— Приписанные к цеху или состоящие на службе.

— На службе, — повторил он. — Восемьдесят часов вместо ста сорока. И поручитель есть — казна.

Он встал и прошёлся.

— У меня в палате писец увольняется к осени. Место маленькое, четырнадцать рублей, но это служба. Классного чина не дадите, а разряд второй. И часы вечерние, потому что мы служим до трёх, и присутствие это учитывает.

Я сидел и считал.

Четырнадцать рублей — это больше, чем уроки. Восемьдесят часов вечером — это лекции целы. Служба — это поручитель. Это было не спасение, это было больше, чем спасение: это была нормальная жизнь, которой у меня не было ни дня с той площади.

— Иван Гаврилович, — сказал я. — Я под гласным надзором.

— Знаю, — сказал Опалин. — Вы мне в ноябре сами сказали, помните? Я тогда подумал: мальчишка честный, раз сам сказал.

— Для службы нужно свидетельство о благонадёжности.

— Нужно, — согласился он. — Ну так я схожу и спрошу. Я двадцать шесть лет служу, меня в части знают.

Он пошёл в среду.

В четверг он не вышел к уроку.

В субботу вышел и сказал:

— Не выйдет.

Он стоял у двери и не приглашал меня в кабинет, и это само по себе было ответом.

— Я говорил с приставом. Пристав говорит: свидетельство даст, но с отметкой. С отметкой в палате не примут, а если и примут, то через полгода спросят, кто принимал. — Он помолчал. — И это ещё пристав добрый. Он мне прямо сказал: Иван Гаврилович, вам это зачем? У вас трое.

Опалин посмотрел в сторону.

— Вы поймите, я не то чтобы испугался...

— Я понимаю.

— Нет, вы послушайте, — сказал он с внезапным раздражением, и я увидел, что он всю неделю с собой воевал и проиграл, и знает, что проиграл. — Я двадцать шесть лет. Мне до пенсии четыре года. У меня Володя балбес, ему в гимназии ещё три года сидеть, и если меня уволят, его выкинут в тот же месяц. Я не могу.

— Иван Гаврилович. Вы мне ничем не обязаны.

— В том-то и дело, что не обязан, — сказал он. — Обязан был бы — легче было бы.

Он расплатился со мной за оставшиеся уроки вперёд, чего делать не следовало, и я взял, потому что было надо.

На пороге он сказал:

— Кострин. Вы к нам больше не ходите. Не из-за вас — из-за жены. Она узнала и третий день пилит.

Аносова я встретил в конце апреля у библиотеки.

Он выслушал весь перечень — жалоба, министерство, Сенат, служба — не перебивая, и в конце сказал:

— Всё правильно.

— Толку?

— Толку никакого, — согласился он. — Но вы теперь знаете, что это не потому, что вы чего-то не сделали. Многие всю жизнь потом думают, что не сделали.

Он поправил ремень с книгами.

— Хотите совет? Уезжайте сами.

— Куда?

— Куда угодно. Сейчас, пока не уволили. Уволят — станете уволенным студентом под надзором без занятий, а это уже статья: за поднадзорным без определённых занятий полиция обязана иметь особое наблюдение. И тогда поедете вы не куда угодно, а куда пошлют.

— У меня девять рублей.

— Значит, вы поедете туда, куда пошлют, — спокойно сказал Аносов. — Я вам не помочь хотел, я хотел, чтоб вы понимали, что будет. Понимать полезно, даже когда не помогает.

Он уже отходил, когда я спросил:

— Аносов. Почему вы со мной вообще разговариваете?

Он остановился.

— У меня сестра, — сказал он, — учительствует в уезде, в Крутом Логу. Ей двадцать четыре, она умнее меня вдвое, и она никогда не выйдет замуж и никуда не уедет, потому что у неё в бумагах то же самое, что у вас, только вместо брата — отец.

И ушёл.

Уведомление из присутствия по повинности пришло второго мая.

Оно было напечатано типографским способом, с пробелами, куда вписывают от руки: фамилию, разряд, число часов, место отправления и дату первой явки.

Кострин Илья Никитин. Разряд третий. Часов в году — сто сорок. Место — вывод городской, Мещанская часть. Первая явка — 6 мая сего года, к семи часам утра.

Я прочёл, сложил и убрал в карман.

Потом достал свои одиннадцать листков и переложил уведомление к ним, за подкладку, потому что там было надёжнее.

Так у меня в одном месте оказались две бумаги: та, которую я написал сам, считая чужие часы у вывода, и та, которой мне назначили мои собственные.